

**В СВОДКАХ НЕ СООБЩАЛОСЬ...**



**ОЧЕНЬ  
ХОЧЕТСЯ  
ЖИТЬ**

**АЛЕКСАНДР  
АНДРЕЕВ**

В сводках не сообщалось...

Александр Андреев  
**Очень хочется жить**

«ВЕЧЕ»

1958

**Андреев А. Д.**

Очень хочется жить / А. Д. Андреев — «ВЕЧЕ»,  
1958 — (В сводках не сообщалось...)

ISBN 978-5-4484-7862-8

Повесть «Очень хочется жить» известного писателя и сценариста Александра Дмитриевича Андреева (1915–1975) рассказывает о первых месяцах Великой Отечественной войны. Ее молодые герои в результате неравных боев с гитлеровскими захватчиками оказываются в тылу врага. Пережив много неожиданных приключений, они под руководством старших товарищей сколачивают из разрозненных групп бойцов и командиров боеспособную, хорошо вооруженную часть и, проявляя силу духа, воинскую доблесть и мужество, громят врага и выходят победителями. Повесть «Прыжок» – автобиографична. Автора – военного корреспондента «Комсомольской правды» – не раз забрасывали в тыл врага.

ISBN 978-5-4484-7862-8

© Андреев А. Д., 1958

© ВЕЧЕ, 1958

# Содержание

Очень хочется жить	6
Глава первая	6
1	6
2	11
3	15
4	23
5	29
6	34
7	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# **Александр Андреев**

## **Очень хочется жить**

© Андреев А.Д., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Очень хочется жить

*О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь!*

*А. Блок*

### Глава первая

#### 1

На перроне Киевского вокзала вдоль запыленных товарных вагонов с раскрытыми настежь дверями сновали красноармейцы в новеньких гимнастерках и пилотках. Возбуждение, охватившее людей, казалось самозабвенным, точно отбывали они в край синевы и солнца – на отдых. На последние деньги закупалось все, что еще осталось в пустых привокзальных буфетах. Прямо у вагонов сбивались в кучки и шумно пили из бумажных стаканов пиво и разливной портвейн – девушки принесли его в жбанах и пузатых стеклянных банках. С прошлым все было покончено: налетел вихрь, разметал хрустальные дворцы, созданные пылкой юношеской мечтой, разорвал судьбы, казалось навечно скрепленные любовью, словно пыль с дороги, сдул мелкие человеческие обиды, ссоры, ревности, ложные заверения. Все это осталось позади. Впереди – лишь взметенная взрывами земля, скитания по военным дорогам, смертельные схватки с врагом. Война!..

Боец, пробегая мимо нашего вагона, споткнулся на выбоине каменной платформы – на пыльный асфальт упал тоненький ломтик сыра, – ругнулся и в сердцах ударил носком ботинка асфальтовую плитку. Она отлетела к моим ногам. Лейтенант Стоюнин, находясь рядом со мной, поднял ее, подержал на ладони, затем отломил кусочек, грустно и смущенно улыбнулся:

– Увезу с собой... Случится, затоскуешь, возьмешь в руки этот кусочек, и повеет на тебя родным бензиновым перегаром – частица Москвы все-таки...

Я не сказал лейтенанту Стоюнину, что час назад, выходя из метро, я задержался у колонны, облицованной мраморными плитами с разветвленными синеватыми прожилками, и ее холодок приятно коснулся моей щеки: я простался с Москвой, со всем, что было любимым и святым в ней для меня. Земля, на которой вырос, стала дорожкой жизни.

Военкомат направил меня, как и многих добровольцев, на трехмесячные курсы лейтенантов. Вскоре выяснилось, что срок учебы сокращается до месяца. Но выпустили нас досрочно, и мы поняли, что дела на фронте более сложны, чем мы предполагали.

Преподаватель тактики, подполковник Верстов, человек пожилой, хмурый, неулыбчивый, но мягкий, сказал прощаясь:

– Недолго пришлось изучать вам военную науку, товарищи командиры. – С глубокой печалью оглядывал он нас, стройных, молодых и неопытных. – Продолжите обучение на фронте: враг – самый умелый и беспощадный учитель. И чем скорее превзойдете его, тем лучше... Самое страшное в тактике врага – танковые тараны. Ваша задача – научиться противостоять им, уничтожать танки, отсекая их от пехоты. И еще один вам совет: держитесь за землю в прямом и переносном смысле. Зарывайтесь в землю. Она оградит вас и от танков, и от артиллерийского огня, и от авиации... Ну, с богом!

Перед отъездом на фронт я еще раз забежал домой, на Таганку. Павла Алексеевна, соседка по квартире, встретила меня как самого близкого; моя военная форма сильно встревожила ее.

– Фашистов-то, говорят, видимо-невидимо. Говорят, Смоленск уже захватили, на Москву прут. С танками... Что будет-то, Митенька?.. – Она заплакала.

Я промолчал и прошел на свою половину.

Глухо и грустно бывает в комнатах, когда в них долго никто не живет; везде лежит серый, тусклый налет пыли... Листья лимонов пожелтели без поливки.

Павла Алексеевна, войдя следом за мной, присела на краешек стула.

– Заходил, Митенька, Тонин Андрей, пожалел, что никого не застал из ваших. Сам он прилетел, а Тоне приказал, чтобы она весь срок отбыла в санатории. Но сказал, что она его не слушается и примчится домой. Забегал еще дружок твой, Саня в военном, – должно, тоже на фронт отправили. А еще спрашивала про тебя девушка одна, красивая такая. Ириной назвалась. Грустная была. Постояла на крылечке, потрогала губку мизинчиком и ушла...

Много разных вопросов, мыслей и чувств вызвали торопливые известия Павлы Алексеевны о близких мне людях. Андрей Караванов – летчик-истребитель, – возможно, уже врежется сейчас в строй вражеских стервятников, кружащихся над Ленинградом или Минском. Но как он мог оставить Тоню одну в такое время? До отдыха ли сейчас! А Саня Кочевой? Почему он в военном? Неужели его призвали, разлучив со скрипкой? Знаков различия у него на петлицах Павла Алексеевна не разглядела: близорука. Ничего не сказала она и про Никиту с Ниной. Судьба, как нарочно, раскидала нас в разные стороны перед такими событиями. Надо же было Никите увязаться за Ниной куда-то на Смоленщину! Они должны быть в Москве – за десять дней можно пешком дойти. Значит, застряли где-то... Никита – кузнец, он все выдержит, в какие бы условия ни поставила его война. А вот Нина?... Куда ей с ее нежными, почти прозрачными руками и тонкой душой! А что, если она уже в плену, в руках немцев? Воображение рисовало картины одна другой страшнее, и я содрогался от боли, от бессилия помочь Нине, спасти ее.

С этой тревогой, доходящей до отчаяния, я и ушел из дому.

На вокзале меня никто не провожал.

Гудок паровоза, резкий и продолжительный, будто прорезал в сердце глубокую борозду – ей теперь никогда не зажечь. Бойцы не могли оторваться от девичьих губ – поцелуи напоминали вздох, тяжкий и печальный. Вагон грубо дернулся, застыл, затем еще раз дернулся и тихо, неохотно двинулся. Позади оставались женские, в слезах, лица, ярко вспыхивали и прощально полоскались на ветру косынки.

Белобрысый парень с капельками пота на переносье еще плясал, старательно выбивая дробь каблуками тяжелых ботинок. Несколько человек, собравшись в кружок, хлопали в ладоши в такт ему. Из вагонов кричали:

– Эй, артист! Пропляшешь войну!

Дождавшись нашего вагона, белобрысый парень метнулся к двери, сначала кинул в вагон пилотку – кто-то ловко поймал ее, – затем прыгнул сам; несколько надежных рук подхватили его.

Платформа кончилась, потянулись пристанционные постройки, вагоны, беспорядочно разбросанные по путям. Сзади кто-то крикнул:

– Не забывай, Москва!

Я стоял, облокотившись на перекладину, перегородившую широкую дверь. С каждым перестуком колес все дальше и дальше уходила, убегала московская земля. Удастся ли вернуться?... Все прошлое, все пережитое вдруг озарилось теплым, радостным светом, как уже навсегда потерянное. Вспомнилось – в детстве, в ночном, когда я уснул возле костра из сухой картофельной ботвы и коровьих лепешек, мне поднесли к лицу зажженную вату, выщипан-



ную из подкладки моего же пиджака; я проснулся от пронзительной, раздирающей душу боли. Вспомнилось, как Леонтий Широков с Сердобинским подложили мне под подушку ежа, и я лег на него... Память выхватывала из прошедшего – отрывочно, бессвязно – какие-то случаи, поступки, розыгрыши, подчас нелепые и обидные, – все они вызывали сейчас грустную улыбку... Прошлое стояло рядом, за спиной, а будущее виделось смутно. В душе у меня было столько сил, была ключом такая жажда жизни, что упорно верилось: перенесу все лишения, одолею неодолимое, выстою все беды, только бы не смерть. Я впервые подумал о смерти, и мне стало до ужаса страшно. Неужели я не увижу больше солнца, Москвы, Волги? А мать, Тоня, Нина... Хотелось кричать грозно и протестуяще!..

Мне казалось, что и всем едущим со мной так же страшно, как и мне. Я обернулся. Молодые веселые парни, белокурые и чернявые, с лихой беспечностью допивали остатки портвейна – возбуждение, вызванное отъездом на фронт, не покидало их, – настроение «черт побери все!» невольно передалось и мне. Я стал тихо подтягивать белобрысому танцору и запевале: «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой...»

Поезд, не задерживаясь, проносился мимо станций, гудел на переездах, и пронзительные, щемящие звуки отдавались и замирали в зеленых березовых рощах. И всюду нас провожали, желая нам самого хорошего, тоскующие материнские глаза...

В Малоярославце эшелон, задержавшись, встал бок о бок с эшелоном, идущим с фронта.

В распахнутую дверь нашего вагона глянул кровавый лик войны. В вагоне встречного поезда на полу и вдоль деревянных нар лежали на соломенных матрасах раненые, тесно прижавшиеся друг к другу. В сумрачной глубине виднелись бледные пятна марлевых повязок и два или три лица со вскинутыми подбородками. В двери, на полу, свесив вниз босые ноги, сидел боец с повязкой на голове и правом глазу; сквозь нее проступали черные пятна уже запекшейся крови. Незавязанный глаз, серый и как бы задымленный, без блеска, глядел на меня равнодушно и устало, складки губ с серебристым пушком таили что-то горькое, болезненное.

– Ну как там? – тихо и неуверенно спросил кто-то из наших.

С нар поднялся высокий худой парень без рубашки, весь, точно пулеметными лентами, перепоясанный уже запыленными бинтами, особенно пухло и надежно запаковано было правое плечо; впалые щеки и глубоко сидящие глаза на загорелом до черноты лице хранили сумеречные тени.

– Поезжай – увидишь, – ответил он хмуро, но, оглядев примолкнувших ребят, таких доверчивых, свеженьких, улыбнулся, показав крупные белые зубы, успокоил дружелюбно: – Ничего, братцы, не робейте. Главное – применяться к складкам местности. И пригибаться. А то вот я забыл пригнуться, меня и садануло...

К двери протолкнулся белобрысый плясун, сказал громко и задорно:

– А мы не робеем, не пугай! – Вдруг он присвистнул и запел хмельным криком: – Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить!..

Его никто не поддержал.

Боец с забинтованным плечом поморщился, покосившись на раненых товарищей, осуждающе сплюнул и попросил закурить. К нему тут же протянулось несколько рук с раскрытыми пачками папирос. Парень, безучастно сидящий в двери, проговорил, точно размышляя вслух:

– Будет видеть глаз или нет?... – Очевидно, этот вопрос мучил его все время.

По узкому коридору между поездами деловито и озабоченно шла женщина в белом халате, за ней впритруску следовали двое пожилых усатых санитаров в коротеньких и засаленных халатах, напоминавших поварские курточки. Задний нес на плече носилки.

– Сюда, сестра! – крикнул женщине боец с перевязанным плечом. – Здесь они! – И объяснил, обращаясь ко мне: – Покамест ехали, двое кончились: один в грудь был ранен, другой – в живот.



Санитары, приблизившись, установили возле колес носилки и по-стариковски неловко полезли в вагон. Через минуту они поднесли к двери умершего бойца, почти мальчика, с желтым, бескровным лицом.

Я не видел, как санитары снимали его и клали на носилки: вагон наш толкнуло, эшелон двинулся дальше. Паровозный гудок был теперь угрюмый, приглушенный, точно охрипший, наводящий уныние. Бойцы молча следили, как уносился назад зеленый лес; деревья то взбегали на пригорок, нависали над головой, закрывая белые облака в небесной голубизне, то спускались вниз, и нам видны были острые вершины елей, освещенные полуденным солнцем.

К вечеру за станцией Рославль эшелон, мчавшийся с предельной скоростью, вдруг оборвал бег, раздался визг колес, скользнувших по рельсам. Запахло горелым железом тормозных колодок. На пол полетели, гремя, котелки и кружки. Многие не удержались на ногах. Я ударился головой о стойку двери. Паровоз отрывисто и встревоженно гудел. Два сильных и близких взрыва качнули вагон. Потянуло кислым пороховым дымом. Мы сразу поняли: это налет. Одни растерянно и вопрошающе глядели друг на друга, другие кинулись к дверям, заглядывали вверх, пытаясь определить, откуда угрожает опасность. Испуг присыпал лица белой пудрой.

Задержка была секундная. Паровоз, судорожно работая локтями, исходя паром, с огромным напряжением опять рванулся вперед. Эшелон прополз метров триста и снова остановился. В соседнем вагоне забили в подвешенный рельс. Металлические всплески звуков, частые, пронизывающие, как бы смыли людей на землю. Они сыпались из вагонов, скатывались с насыпи и ныряли в траву.

Отбежав подальше от дороги в реденький кустарник, я упал на пыльную, нагретую солнцем пахучую траву лицом вниз. Но любопытство – куда упадут бомбы? – подавило страх. Я оглянулся. Два самолета с желтыми крестами на крыльях тяжело, со зловещей медлительностью разворачивались, уверенно заходя на эшелон со стороны паровоза, – беспомощный, он стоял на высокой насыпи, как бы ожидая своей участи, и робко дышал, выпуская белые струйки пара. На крышах переднего и хвостового вагонов сидели бойцы с ручными пулеметами.

Перед моими глазами затрепетал мотылек, такой легкий и радостный, что у меня тоскливо заныло сердце; вот он коснулся листика молодого дубка, сложил радужные крылышки в черных бархатных крапинках, опять расправил их. Его спугнула внезапная стрельба: пулеметчик, не выдержав напряжения, выпустил очередь, хотя самолеты были еще далеко. Но вот они достигли какой-то точки и словно с невидимой крутой горы скользнули вниз один за другим. Из-под крыльев отделились черные бомбы. Мне показалось, что эти бомбы летят прямо на меня, я опять ткнулся лицом в траву. Вой самолетов нестерпимо сверлил где-то под лопатками.

Надсадно ухнула земля, прожужжали осколки, на плечи посыпались твердые комья; бомба разорвалась совсем рядом. «Пронесло», – с радостью подумал я и хотел встать. Но последовал еще один взрыв, особенно сильный, трескучий, и плотнее придавил к земле.

Когда вой прекратился и наступила тишина, я приподнял голову и посмотрел на эшелон. Хвостовой вагон был разнесен в щепки, второй горел, облако дыма и пыли стояло над дорогой, заволакивая красное заходящее солнце. Самолеты ушли. Бойцы неуверенно подымались с земли и тихонько тянулись к поезду, изумленно глядя на место катастрофы. Сквозь треск горящего дерева я различил слабые и жалобные стоны.

– Помогите встать, товарищ лейтенант, – попросил меня белобрысый плясун; он сидел под кустом ольхи и болезненно морщился, оглядывая ногу: обмотка на левой икре пропиталась кровью и стала черной. Я склонился, он обнял меня за шею, легко встал на здоровую ногу, заковылял, повиснув на моих плечах. «Ну вот, отплясался», – подумал я, глядя сбоку на побледневший курносый профиль парня. Парень словно угадал мою мысль и проговорил с неизменной беспечностью:

– Ни черта, заживет!..

Вдоль вагонов бежал начальник эшелона, подполковник, уже немолодой, с брюшком, – из запасных. За ним спешили к месту пожара двое железнодорожников. Увидев меня, подполковник крикнул, задержавшись на секунду:

– Всех раненых в один вагон! Там им сделают перевязку.

На помощь ко мне уже подходили санитары.

Железнодорожники попытались отцепить горящий вагон, но пламя не позволяло приблизиться, и начальник поезда приказал отсоединить три вагона: третий вскоре загорелся от соседнего. В сумерки железные остовы их сбросили под откос, чтобы они не мешали движению.

Подобрав и погрузив раненых, – пулеметчиков, что находились на хвостовом вагоне, не нашли, – эшелон помчался дальше – скорей, скорей к фронту!

Ночью ощущение тревоги и опасности стало острее. В той стороне, куда с таким нетерпением стремился поезд, стояли, обнимая полнеба, багровые зарева, будто небо обильно сочилося кровью. Один раз мне показалось, что мы летим над огненной землей, справа и слева буйно разлилось, стекая за горизонт, пламя – горели хлеба. Крестьяне, уходя в глубь страны, поджигали массивы спелой ржи и пшеницы. В ночном сумраке различались обозы; они тянулись навстречу нам со скарбом, со скотом, с ребятишками. Что-то до тоски горестное и древнее было в этих обозах, точно выплывали они из мглы веков – так было во времена нашествия монголов, поляков, французов; люди покидали родные, насиженные гнезда.

Весь следующий день эшелон, прокрадываясь к фронту, часто и подолгу стоял, ожидая, когда починят пути, развороченные бомбами. К ночи он достиг маленькой разбитой станции, не доезжая Орши.

Курсантов – пас было шестеро, прибывших на пополнение командного состава подразделений, – принял представитель полка, капитан, резкий человек с охрипшим голосом; в темноте трудно было разглядеть его лицо. Он зачем-то потрогал каждого из нас, подталкивая друг к другу, сбивая в тесную кучу, затем бросил недружелюбно:

– Идите за мной. – Но с места не сдвинулся.

Мы тоже стояли.

Поглядев в сторону зарева, откуда неслись глухие и протяжные стоны земли – там рвались снаряды, – приказал с раздражением:

– Проверьте оружие! – И, узнав, что мы безоружны, неожиданно хохотнул отрывисто и презрительно. – Да вы что, на кулачный бой приехали? Смотрите на них! Присылают черт знает кого!.. – И зашагал прочь в темноту.

За станцией он остановил грузовик. Мы прыгнули в кузов, полный каких-то ящиков. Машина пробиравась по опушке леска, осторожно нащупывая дорогу, качалась на ухабах и рытвинах и через час вползла в деревню Рогожка, приткнулась к изгороди в темном проулке. Капитан, выпрыгнув из кабины, взбежал на крылечко избы и скрылся в черном проеме двери. Мы остались ждать.

В темноте вдоль улицы и в проулках меж домов безмолвными тенями двигались люди, запрягались лошади и нагружались подводы, урчали моторы. В дальнем конце деревни надрывно, с подмывающей тоской выла на зарево собака. В сених плакал ребенок, и женщина успокаивала его сонным умоляющим голосом.

Через несколько минут капитан вернулся и все так же хмуро, с уничтожающей иронией представил нас вышедшему вместе с ним начальнику штаба:

– Вот они, товарищ майор, чистенькие, как новорожденные младенцы. Умеют ли стрелять, не знаю.

– Вы прибыли вовремя: завтра нас не застали бы здесь. Отходим. – Начальник штаба казался обеспокоенным и чрезмерно усталым. – Как ваша фамилия? – спросил он меня и чуть склонил набок седую голову, словно боялся, что не расслышит ответ.

«Сейчас определится моя военная судьба», – пронеслось у меня в голове; я сделал шаг к нему.

– Лейтенант Ракитин.

– С ротой справитесь?

Времени для раздумий и колебаний не было.

– Справлюсь, товарищ майор.

Начальник штаба повернулся к капитану.

– Направьте лейтенанта Ракитина к Суворову, в третью роту.

Я отодвинулся в сторону, давая место другому; назначение получено, жизнь солдатская началась.

## 2

Штаб полка снялся еще затемно. С уходом войск на деревню тотчас же легла неизгладимая печать; она приняла вид заброшенный и обреченный, как бы приготовилась к великому и неизбежному...

Женщины поодиночке показывались на улице и сожалеюще, с укором глядели вслед ушедшим. При сильных и близких взрывах они с ужасом поворачивались в сторону боя, шептали что-то и, охая и крестясь, загоняли ребятишек в холодные, сырые погреба. На дворах беспокойно мычал скот. Собаки с поджатыми хвостами жались к домам, предчувствуя беду. И только неунывающие петухи, пренебрегая всеми опасностями, голосили беспечно и задорно, радуясь наступившему новому утру. В заревой свежести острее чувствовалось дыхание приближающегося бедствия: запах гари человеческого жилья и порохового дыма был удушливее и печальней, звуки взрывов, то гулкие и ленивые, то частые, беспорядочные и резкие, широко захлестывали землю.

Ждать связного в деревне было тягостно, и мы, я и лейтенант Стоюнин, вышли на дорогу, твердо рассчитывая на одно правило: идти на запад – придешь на передовую. Лейтенант Стоюнин вынул из планшета карту. Он читал ее неторопливо, с особым удовольствием и важностью, водя средним пальцем по зеленым разводам и линиям, определяя местонахождение свое и батальона. Стоюнин любил строй, выправку, дисциплину, порядок – он был сыном кадрового военного, полковника, сражающегося где-то под Псковом; форма на нем была сшита из хорошего материала и на заказ, на хромовых, по ноге, сапогах играли солнечные блики, гимнастерка перетянута желтыми скрипучими ремнями снаряжения, через плечо висела полевая сумка, на боку – планшет, на груди – бинокль в новеньком чехле, и весь он, Стоюнин, празднично-чистый, юный, до хрупкости стройный, безмятежно-улыбчивый, без тени страха или беспокойства, наводил на мысль, что собрался он в парк, на свидание, а не в бой.

– Я думаю, лейтенант, – сказал Стоюнин, оторвавшись от карты, – нам следует держаться этого направления, идти по этой дороге – вон тот лесок, видите? – Лейтенант обращался ко всем на «вы». – На карте вот он... За ним должны быть Фомины дворы...

Бои шли рядом, но дороги, ведущие к передовой, поражали пустынностью, точно подразделения были брошены на произвол судьбы. Спокойствие напоминало затишье перед сильной грозой. Лучи восходящего солнца оплетали верхушки деревьев красной паутиной. Блики на сапогах Стоюнина померкли, припорошенные дорожной пылью. Показались два раненых красноармейца без оружия, без пилоток: они брели в медсанбат. На вопрос, где расположен батальон капитана Суворова, они молча повернулись в ту сторону, откуда только что вырвались полуживыми, и лицо одного из них исказилось, выражая отчаянный страх и ожесточение. Он бросился к нам. Я увидел перед собой его остановившиеся, полные ужаса глаза.

– На смерть идете! – заговорил он торопливо, упираясь мне в грудь здоровой рукой. Нервы, столько времени державшие его в напряжении, сдали, он сел на колею и вдруг заплакал – со зла и от бессилия, от жалости к себе и к нам.

Этот плач как будто накидал в душу мне горячих углей... Я помог бойцу встать.

– Успокойся, – сказал я, хмурясь. – Ты просто устал.

– Устал... – горько и с обидой повторил боец. – Эх, лейтенант! Хочешь, пойду с вами назад? – В этом вопросе было столько решимости, что малейшее наше колебание – и он вернулся бы.

Я сказал мягко и участливо:

– Добирайся до медсанбата, дружок...

Боец молча отвернулся от меня и, дернув за рукав своего товарища, как будто с неохотой побрел дальше. Я ощутил в себе обычное тревожное нетерпение – казалось, без нас там, в батальоне, произойдет что-то непоправимо-страшное...

– Надо спешить, – сказал я Стоюнину и прибавил шаг.

Лейтенант выглядел все таким же безмятежным, как будто встреча с ранеными бойцами не произвела на него никакого впечатления. Он ответил что-то, но я не расслышал: низко над землей, почти касаясь острых вершин елей, прошли с неистовым воем немецкие бомбардировщики. Когда вой утих, сзади послышалось тарахтение колес. Мы оглянулись – по дороге пылила парная повозка. В передке ее стоял ездовой, весь какой-то взъерошенный, седой от пыли, и безжалостно хлестал взмыленных лошадей. Наших знаков задержаться он даже не заметил, и мы, побросав в повозку мешки и шинели, вскочили на ходу. Мы сразу поняли, почему ездовой не щадил коней: от него зависела жизнь и смерть бойцов – он вез в ящиках патроны и несколько караваев черного хлеба.

Вскоре нашу подводку обогнали, пыля и сигналив, четыре машины, тяжело груженные снарядами.

– Это артиллеристам! – с надеждой закричал ездовой, обернувшись к нам, и хлестнул лошадей.

Лес, а особенно его опушка, заметно ожил. Дорогу пересекли артиллерийские упряжки; подминая деревца, проползли танки, закиданные увядшими ветвями, похожие на шалаши; виднелись стволы орудий, чуть вскинутые вверх, украшенные зелеными листьями, точно венками. И всюду бойцы, сосредоточенные, отрешенно-неторопливые, готовые ко всему. «Так выглядят люди, прошедшие через самые страшные испытания; они продолжают спокойно идти на грани жизни и смерти», – подумал я не без гордости, невольно причисляя себя к ним. Я попытался мысленно увидеть свой путь в будущем и ничего не мог представить себе явственно: все хаотически нагромодилось и заволокло дымом, багровым от огня, смутно различались толпы людей и среди них я, живой, устоявший во многих бедах...

Ездовой придержал лошадей.

– Капитан Суворов вон там, за крайними дворами, около сарая, оттуда он командует. А мне – туда. – И когда мы сошли с повозки, прибавил с тоскливым сокрушением: – Что это фашист не стреляет? – Очевидно, он хорошо знал, что следует за таким затишьем.

Мы отделились от лесной опушки и полем, напрямую, пошли к крайним дворам. Над лесом, ласково грея, встало солнце, во все стороны осветились синие, радостные дали. Слева, на горизонте, острым углом врезаясь в желтое поле пшеницы, хмуро и загадочно темнел лес – там затаился враг. Между тем лесом и дворами пролегла широкая лощина с пересохшей речушкой. Батальон, откатываясь под вражеским натиском, зацепился на высокой кромке этой лощины и наскоро вырыл окопчики, стрелковые и пулеметные гнезда. В зеленой лощине, вспаханной тяжелыми гусеницами, мертво чернели подбитые или сгоревшие танки, возле них разбросаны темные пятна – должно быть, убитые, которых не успели убрать.

Лейтенант Стоюнин различил в траве среди кочек провода, они тянулись по огородам, выводя в проулок; обогнув избу, мы наткнулись на сарайчик, о котором говорил ездовой, – стены сплетены из хвороста, на крыше потемневшая от времени, слежалая солома. Возле сарая беспокойно переступала с ноги на ногу белая, словно лебедь, лошадь под седлом; нагнув голову к охапке свежей травы, она лениво шевелила нежными губами стебельки, сладко похрустывала. Неподалеку от нее мы увидели молодцевато подтянутого командира в аккуратной форме и щегольских сапогах со шпорами – это и был капитан Суворов. В нем было что-то театральное, напускное. Казалось, он сошел со страниц какой-то давно знакомой книги или появился из спектакля с беспечными гусарскими похождениями. Закроется занавес, и он предстанет уже другим, простым и, как все, обеспокоенным. Но занавес не закрывался, и мы наблюдали Суворова таким, каким он был, – наигранно лихим и требовательным. Перед ним тянулся с чрезмерной старательностью ефрейтор, коренастый, курносый, с удивительно плутовской рожей; вылинявшая, рыжая гимнастерка, куцая, с короткими рукавами, стянута на животе в сборки парусиновым ремнем, штаны на коленках пузырились, пилотка не могла прикрыть большой лобастой головы и чудом держалась на затылке.

– Смерти боишься? – строго и отрывисто спросил капитан Суворов и нетерпеливо ударил плеткой по голенищу своего сапога.

– Смерть не теща – пилить не будет. Раз обнимет – и каюк! – Ефрейтор выпалил это быстро и отчетливо, в упор глядя в лицо капитана и нагло, хитро ухмыляясь.

– А без рассуждений?

– Так точно, боюсь, товарищ капитан!

– Молодец, что говоришь правду! – похвалил Суворов. – Не боятся только дураки и хвастуны. Я тоже боюсь. – Он покосился на блиндаж с тройным накатом бревен – была развалена крайняя избенка. – А вообще я о ней не думаю.

– Правильно делаете, товарищ капитан, – одобрил ефрейтор. – О ней только подумай, она, сволочь, сейчас же явится и поцелует в самые уста, как по нотам. Она приголубит...

– Идите, ефрейтор, – кратко сказал Суворов.

Тот неуклюже кинул лопатистую ладонь куда-то за ухо и шагнул в сторону.

Капитан резко повернулся, и взгляд его легонько толкнул меня – большие светлые глаза как будто стояли впереди лица, острые, накаленные зрачки светились сумасшедшей дерзостью.

Комбата любили за отчаянную смелость: он являлся к бойцам в самую критическую минуту боя и выправлял положение. Они почти верили в то, что он заговорен: «Его не берет ни одна пуля, роем вьются вокруг него, а касаться не смеют... А то он уже десять раз сложил бы свою лихую голову...»

Мы представились Суворову. Прикладывая руку к козырьку фуражки, он пристукивал каблуками, позванивал шпорами.

– Почему такие кислые лица, лейтенанты? – спросил он, оглядывая нас испытующе, с дикой веселостью. – Устали? «Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, веселу...» – приказал Суворов и улыбнулся, открыв ровные, сахарные зубы, поправился: – Не я, конечно.

Я понял, что голова комбата забита патетическими формулами, сгустками чужих мыслей, и они держат его в неестественном состоянии.

– С какой радости быть «веселу»? – спросил я с недовольством.

Суворов удивленно приподнял брови.

– Скоро немец пойдет в атаку! – распыленно заговорил он и нервно хлестнул плетью по голенищу. – Он выкатится из того леса и встанет перед тобой на дыбы!.. Разве эта минута не веселит душу? Вчера они кидались на нас шесть раз, и мы шесть раз отбрасывали их назад! – Зрачки его постепенно накалялись, на скулах от стиснутых зубов вздулись бугры. – Они шли в рост, трескали автоматами, мы их косили, косили!.. Сколько было таких атак, я не помню, потерял счет; я иду от самой границы. У меня нет сердца, есть ком ярости, он накален и жжет

грудь. Я никогда не отступал, не могу ронять честь фамилии – Суворов! Мне всегда приказывали отходить. И отходим. Потому что ни черта не умеем воевать.

Лейтенант Стоюнин негромко, но твердо возразил:

– Как мы воюем, показала финская война. Мы сокрушили такую крепость...

Капитан Суворов, прервав его, приложил палец к губам:

– Все это, конечно, так, дорогой лейтенант, но я целый год отходил от карельского урагана – душа к ребрам примерзла. – Он остановился, горячие зрачки его проникли мне в глаза. – Вы, лейтенант, на Карельском перешейке не были? Где-то я вас встречал, лицо мне ваше знакомо... – Он долго еще вглядывался в меня, потом обратился опять к Стоюнину: – Не умели воевать, лейтенант, только учимся. Немец преподает нам тяжкие уроки. Зато и усваиваются отлично – ненависть помогает. – Как бы вспомнив что-то, он хлестнул по сапогу плеткой, проговорил сокрушенно и с болью: – Понимаете, как было... Я до сих пор не могу успокоиться... Ночью, накануне войны, в штаб дивизии – мы стояли в районе Бреста, я был дежурным по дивизии – явился перебежчик, поляк, с важнейшим сообщением: немцы утром пойдут в наступление. Я немедленно позвонил на квартиру командиру дивизии; генерал был недоволен тем, что его разбудили. Он сказал, что перебежчик или провокатор, или сумасшедший. А на рассвете началось!.. Представляете, какой у нас был вид?.. – Капитан хмуро сощурил глаза, на щеках затвердели бугры. – Но теперь мы не те, что были две недели назад. Теперь у меня каждый боец – профессор. И метит в академики! – Суворов резко повернулся ко мне. – Вы, лейтенант, не рассчитывайте получить роту в двести человек. Их нет, они легли в белорусских полях и лесах. Получите полсотни. Но каждый боец стоит десятых. И на боевое оснащение не надейтесь. Его заменяет отвага. Бойцы снимают автоматы с убитых гитлеровцев, рискуют для этого жизнью... Никифоров! – крикнул комбат.

Боец, сидевший возле сарая на бревне в обществе ефрейтора, вскочил и бросился к капитану.

– Принесите автомат.

Никифоров нырнул в блиндаж и тотчас появился с немецким автоматом в руках.

Суворов взял у него автомат и передал мне.

– Вот вам оружие, товарищ лейтенант. – И еще раз крикнул: – Ефрейтор Чертыханов!

Ефрейтор, подбежав, опять кинул за ухо лопатистую ладонь.

– Проведите лейтенанта Ракитина в третью роту. Оставайтесь при нем, служите ему верой и правдой.

– Есть служить верой и правдой! – гаркнул Чертыханов и тут же, понизив голос, спросил с ухмылкой: – Санчой Пансой? – Повернув ко мне широкое, с облупленным картошистым носом лицо, он улыбнулся одними глазами, хитро и общительно, извинился за строгого, но, по его, Чертыханова, понятию, чудаковатого капитана.

Суворов не расслышал насмешливого вопроса ефрейтора. Он повернулся к Стоюнину:

– А вы, лейтенант, останетесь в батальоне: вчера выбыл из строя мой начальник штаба.

– Есть! – ответил Стоюнин и озабоченно оглянулся, как бы говоря, что знакомство затянулось и пора приниматься за дело.

Суворов предупредил его:

– Батальон к бою готов. Ночью все проверил сам. Связь налажена. Боеприпасы подвезли. Очень мало, правда. – Он взглянул на часы, определил, улыбнувшись: – Фашист сейчас завтракает. Изволит кушать кофе...

В это время выплыли из-за леса немецкие самолеты. Они летели тройками – одна, другая, третья, – неторопливо и деловито, как бы провисая под тяжестью груза. Капитан Суворов, побледнев, приказал вдруг осевшим голосом:

– В блиндаж! Никифоров, заведи лошадь в сарай! – и скрылся под бревенчатыми накатами.

За ним двинулся Стоюнин.

Я остался на месте, задержался и ефрейтор Чертыханов. Самолеты шли бомбить коммуникации, и до нас им не было никакого дела. Суворов выглянул из блиндажа.

– Лейтенант Ракитин, немедленно в укрытие! – Его светлые глаза опять стояли впереди лица и металлически блестели; он выговорил жестко, когда я спустился к нему: – Здесь вашей воли нет. Есть воля приказа. Это закон.

### 3

Через несколько минут я простился с комбатом, и ефрейтор Чертыханов повел меня в роту. Тяжелый осадок беспокойства и тревоги уносил я в душе после встречи с Суворовым. Мне подумалось, что он, находясь в ярости, похожей скорее на беспамятство, может погубить и себя и людей, идет по самому острiu – на грани жизни и смерти: упорство затмевает разум, риск ослепляет... Но то неукротимое, соколиное в нем, что бросалось с первого взгляда, подавляло...

Ефрейтор Чертыханов шагал впереди меня по тропе между грядок. Карманы, набитые чем-то, были широко оттопырены, в шею под крупным затылком врезался ремень автомата.

Точно отгадав мои мысли, Чертыханов сказал, задерживаясь и приседая возле грядки моркови:

– Это он только с виду такой грозный, Суворов-то, это фамилия вздыбила его, тронулся он немного на этой фамилии... И еще он помутился, я думаю, от недосыпания. Я был его связным, а ни разу не видел, чтобы он лежал и спал. Прислонится плечом к столбу, к дереву, к стене, вздремнет чуть-чуть и, глядишь, уже вздрогнул, глаза ничего не видят, кричит: «Связной!» Измучил он меня вконец. «Отпустите, – говорю, – товарищ капитан, а не то грохнусь и не встану, хоть пушку мной заряжай». – Пошарив большими руками в зеленой ботве, Чертыханов выдернул несколько штук моркови – незрелые, бледно-розовые хвостики, – подал мне какие покрупнее, попросил: – Вы уж давайте мне поспать, товарищ лейтенант, а я отплачу за вашу доброту...

Мне вспомнилось, как в детстве я украдкой от матери таскал такую же незрелую морковь, и явственно ощутил сладковатый вкус ее – очень хотелось есть. Я окунул морковь в росистую траву, затем вытер листьями лопуха. Ефрейтор двинулся дальше; надерганная про запас морковь, которую он держал за ботву, напоминала красноватого ежа.

– Комбат уже третий раз спрашивает меня, боюсь ли я смерти, – продолжал Чертыханов. – Забывает он. Немецкие атаки память у него отшибли. «Ты, – говорит, – мой верный Санча Панса». Тут надо мной подсмеиваются: и ступой меня называют, и лопухом, и кувалдой. Как ни кинут – все в точку, все в аккурат. Внешность у меня для прозвищ подходящая. – Он, повернув ко мне круглое лицо, нос – вареная картошка с лопнувшей кожурой, – хмыкнул, как бы поражаясь людской глупости. – Я не обижаюсь: смейтесь, дурачки, меня ведь не убудет. А комбат вон как выгнул – Санча Панса. Вот тут я сперва действительно обидеться хотел. Но потом раздумал: раз верный – значит не такой уж плохой, хоть и Санча Панса.

Чертыханов перелез через изгородь и вошел в рожь, густую и спелую, во многих местах крест-накрест примятую колесами, копытами, гусеницами. Во ржи сидели двое бойцов и, сладко причмокивая, торопливо ели что-то из котелков. Перед ними стояло ведро, полное пшенной каши, и две сумки с караваем хлеба. Завидев нас, они быстро вывалили из котелков недоеденную кашу в ведро и встали, взялись за палку, на которой висело ведро.

Чертыханов, задержав их, заговорил вкрадчиво, хотя в этой ласковой вкрадчивости улавливались гневные нотки:

– Вы, может, бар-ресторан тут откроете? Распивочную? – Голос его сорвался. – Там люди мечтают проглотить что-либо перед боем, ждут не дождутся, богу молятся, чтобы вас не при-



шибло по дороге. А вы привал устроили. Знаете, сукины дети, что за это бывает?! – Для подкрепления вескости своих слов он поглядел на меня, потом скомандовал: – Марш в роту! Бегом!..

Бойцы потрусили тропой; ведро раскачивалось на палке, мешая бежать...

– Кто сейчас командует ротой? – спросил я Чертыханова.

– Со вчерашнего вечера младший лейтенант Клоков. От телефона не отходит, глаз с того леска не спускает, боится проглядеть немцев. – Чертыханов осуждающе мотнул тяжелой головой, вздохнул. – С первого дня военных действий вы, товарищ лейтенант, седьмой будете. самого первого командира, капитана Лещева, убило на ранней зорьке двадцать второго числа, он даже до роты не добежал. Второй продержался два дня – тоже убило. Потом они пошли мелькать один за другим. Один, Веригин, был больно храбр, не жалел себя; чуть что – выскакивает: «За Родину! За мной!» – и вперед! Ну и... Убило его или ранило, точно не знаю, только упал он и не встал, остался на их стороне. Его место занял старший лейтенант Буренкин. И тоже не уберегся. Угодил под мину. Сколько времени уцелеете вы, не знаю. – Чертыханов, шагнув в сторону, пошел в ногу со мной, задевая большими и тяжелыми, как гири, ботинками за стебли ржи; на крепких зубах хрустела морковь – от красноватого ежа осталось лишь несколько иголок. – Не суйтесь вы, товарищ лейтенант, не горячитесь, – сказал он по-дружески задушевно и просительно. – Самое главное: не скovyрнуть раньше времени. Не век же он, фашист, будет так переть, остановится.

– Некоторые говорят: остановится, когда всю землю заберет, – возразил я.

Он улыбнулся снисходительно:

– Скажете тоже: всю землю! Подавится от всей-то земли...

Утренняя безмятежная тишина угнетала меня, в ней таилась какая-то беда, которую невозможно было отгадать и тем более предотвратить. По горизонту точно проплывали невидимые медлительные корабли под белыми, вздутыми ветром парусами облаков, белизна их ломила глаза, подчеркивала ощущение тревоги; от далеких ухающих взрывов облачные паруса, казалось, вздрагивали, как от порывов бури.

– Почему немцы молчат? – спросил я Чертыханова. – По-моему, и справа и слева идет бой...

– Черт их знает, почему они молчат, – спокойно сказал ефрейтор и, оторвав последнюю морковь, бросил зеленый пучок ботвы в рожь. – На поле боя они полновластные хозяева: когда им захочется, тогда и заводят бой, как по нотам. То вдруг замолчат, то вдруг ринутся! Мы приноравливаемся к ним: воля-то их пока.

– Может быть, они обходят нас?

– И такое бывало, – охотно согласился Чертыханов. – Недаром же штаб полка снялся... Они, товарищ лейтенант, немцы-то, сперва танки пускают, – заговорил он доверительно, опять подлаживаясь под мой шаг. – Вы не страшитесь. Их надо пропускать: катитесь, грудью их не опрокинешь; с ними расправятся, если смогут, артиллеристы и танкисты. На нашу долю пехота. Вот тут не теряйся, тут только держись! И почаще прижимайтесь к земле. Надежно... – Я удивился: ефрейтор повторил совет подполковника Верстова.

Мы прошли еще немного мелким кустарником, свернули влево, в траншею со свежей, сделанной за ночь глинистой насыпью. Траншея, изогнувшись, подвела к яме в рост человека, небрежно, наспех закиданной ветками, – это был командный пункт командира роты. Навстречу мне обрадованно кинулся человек, небритый, с мокрыми, прилипшими к лысеющему лбу прядями волос, с телефонной трубкой, крепко зажатой в кулаке; аппарат как бы держал его на привязи – провод был короток, – и младший лейтенант Клоков до меня не дошел, протянул руку издалека.

– А я жду, жду вас... Думал, случилось что. Здравствуйте, товарищ лейтенант! – порывисто сжав мне ладонь, он так же обрадованно крикнул в трубку: – Прибыл, товарищ капитан!

Все в порядке. Есть!.. – Послушав немного, опять повторил: – Есть! – и кинул телефонную трубку. Клоков еще раз стиснул мне руку, как бы с благодарностью за мое появление, заторопился все объяснить, точно боялся, что я раздумаю принимать у него роту: – Связь с батальоном пока хорошая. Враг не подает никаких признаков жизни... Рота к бою готова... Налицо сорок два человека. Командный состав – три человека, вы четвертый... Наша рота занимает правый фланг обороны. Держим связь со вторым батальоном... Кроме винтовок и автоматов, в наличии два станковых пулемета и один ручной. Есть немного противотанковых и ручных гранат и бутылки с горючей жидкостью... Патроны подвезли...

– Не густо, – обронил я негромко.

– На одну вражескую атаку вполне достаточно, – заверил младший лейтенант. – На две – с натяжкой. Третью и последующие придется отражать штыковым ударом.

В углу ямы за телефонным аппаратом сидел человек, как бы придавленный к земле грузной стальной каской; над ним трепетало текучее душистое облачко дыма.

– Оружие-то еще только куется в уральских кузницах, – сказал он негромким учительским голосом. – Когда-то оно дойдет до нас... Но жизнь, вернее, враг поставил нас в такие обстоятельства, и нужно искать выход.

Младший лейтенант встрепенулся, мотнул головой с влажным от возбуждения лысеющим лбом и приклеенными к нему мокрыми прядями волос; я улыбнулся: суетливые движения делают рослых людей немного смешными.

– Познакомьтесь, политрук Щукин, – сказал Клоков.

Политрук неторопливо поднялся, взмахнул рукой, разгоняя дым.

– Здравствуй! – Он долго не выпускал мою руку из своей, изучающе разглядывал меня своими спокойными синими глазами; на широких, углах, скулах проступала редкая рыжеватая щетина. – Трудно перед врагом стоять, а надо. Привыкай скорей, лейтенант. Будем вместе горе мыкать... – Выпустив мою руку, он снял каску, вынул из нагрудного кармашка расческу с обломанными зубьями, расчесал на пробор желтовато-белые жесткие и прямые волосы; без каски он выглядел выше и стройнее. От него веяло спокойствием и уверенностью; его спокойствие, веское и угрюмое, передалось и мне. – Тебе не терпится небось скорее познакомиться с обороной? – спросил Щукин, пряча тонкую дружескую усмешку. – Прокофий, проводи командира роты, покажи наши укрепления... Спешите, пока фашисты замешкались что-то...

– С великим удовольствием! – громко откликнулся ефрейтор Чертыханов, кинув за ухо ладонь.

Младший лейтенант Клоков, сдав командование ротой, уходил в свой третий взвод.

– Знаете, словно гора с плеч свалилась, когда вы прибыли, – признался он с облегчением. – Во взводе мне легче... Вот вам мой пистолет. На память. У меня еще есть...

Я чувствовал, что надо было что-то ответить.

– Не страшитесь танков, младший лейтенант, пропускайте их мимо себя, отрезайте пехоту, – повторил я простую, накрепко усвоенную мной мудрость. – И зарывайтесь поглубже в землю.

– Верно, – одобрил Щукин; он опять сидел в углу и курил, поглядывая на меня сквозь дымок.

– За пистолет спасибо. Буду хранить.

Спустя некоторое время ефрейтор Чертыханов, пригибаясь в низкорослом кустарнике, провел меня по всей оборонительной линии, занимавшей километра полтора. Реденькая это была оборона, худосочная, и враг своими железными танковыми таранами прорвет ее, как паутину. Теплилась в глубине души надежда: вдруг немцы совсем не пойдут в наступление сегодня, тогда будет возможность зарыться в землю, запастись боеприпасами.

Поведение бойцов озадачивало меня. Они так же, как и я, знали, что враг сильнее нас, но это, по всей видимости, нисколько не смущало их: что ж делать, если враг застиг врасплох, не

отчаиваться же! Они знали, что спасение в глубине окопов, и, пользуясь передышкой, упорно долбили жесткий суглинок, подобно кротам, залезали в норы. Обожженные жарой лица их не закаменели, как мне представлялось, в «священной» ненависти; эти лица вдруг озарились улыбками, такими мирными, такими по-юношески светлыми, что невольно верилось в нашу непобедимость, в счастливую звезду, в то, что останешься живым...

Командира первого взвода лейтенанта Смышляева мы нашли в кустах, метрах в тридцати от траншейки. Он сидел на краю недавно вырытой ямки и в скужающем раздумье перегрызал зубами сухой стебелек. Нас он встретил с безразличием обреченного на гибель человека: взглянул – и не заметил. Я удивился его неприметности: есть лица «без особых примет», они проходят перед взглядом, не зацепившись в памяти ни одной чертой, правильные, обычные и скучные – и от этого плоские и гладкие, как доска. Только одна была у Смышляева примета: словно ткнул его кто-то в подбородок хорошо отточенным карандашом и оставил вороночку с синеватым доньшком. Эта вороночка и бросилась в глаза.

– Как дела? – спросил я Смышляева.

Он перегрыз травинку.

– Дела как сажа бела. На волоске висим. Пойдите взгляните. – Он недовольно, кисло поморщился. – Хотя лишнее хождение – лишнее внимание противника... Идемте.

Прокофий Чертыханов шел впереди меня, задевая рукой за свой оттопыренный карман. Прыгнул в стрелковую ячейку к долговязому и носатому бойцу Чернову.

– А, сам Чертыханов пожаловал! – смеясь, приветствовал Чернов ефрейтора. – Живой! Нос-то от вражьего огня, что ль, лопнул?... От накала?

– Ты поменьше разговаривай! – прикрикнул на него Чертыханов. – Вот новый командир роты пришел проверить твою боевую готовность, а ты зубы скалишь...

Чернов, взглянув на меня, вытянулся, стоя на коленях, руки по швам:

– Красноармеец Чернов, мастер на все руки – и стрелок, и пулеметчик, и бронебойщик!

– Больно мелкую ячейку вырыл, не уместаешься, – сказал я, смеясь.

Чернов тут же отчеканил:

– Для моего роста нужно экскаватором ячейку рыть. Просил – не дают: говорят, экскаваторы уставом не предусмотрены. Можете быть покойны, товарищ лейтенант, я и в такой ячейке устою...

Чертыханов подвел меня к пулеметной точке.

– Это Ворожейкин и Суздальцев. Пулеметчики хоть куда! – Прокофий прибавил вполголоса: – Суздальцев-то стишки пишет. Читал мне. Слеза прошибает. Про любовь... А вчера после боя такой стишок сочинил:

Господи, спаси Страну Советов,  
Сохрани ее от высших рас,  
Потому что все твои заветы  
Нарушали немцы чаще нас...

Вот до чего дошел – у бога помощи стал просить! Ну, думаю, устал парень... Подбодрил, конечно. «На бога, – говорю, – надейся, а сам крепче держись за «максима»!..»

От пулемета отступил белокурый, голубоглазый, с мягким, приятным очертанием рта юноша, похожий на Есенина. Смущенно кивнул Прокофию. На лице Ворожейкина как будто навсегда осело мальчишески-плаксивое выражение; он трижды шмыгнул носом, косясь на лесок.

Я повернулся к Смышляеву:

– Зачем же вы тут установили пулемет? Себя охранять? Кто же пойдет сюда, на гору? Перенесите его правее, вон туда, где лощина сливается с полем. Если танки и пехота пойдут, то вероятнее всего там, по ровной местности, а не здесь, из-под горы.

– Здесь меня охраняют пулеметчики, там – вас, – нехотя отозвался Смышляев.

– Выполняйте, – сказал я кратко и настойчиво.

– Хорошо. – Смышляев кивнул Ворожейкину и Суздальцеву. – Слышали? Выполняйте!

Неподалеку от пулеметчиков стонал, хлопая себя по щеке, сержант, широколицый, с кустистыми, мрачными бровями. Чертыханов шепнул мне:

– Быть скоро бою, товарищ лейтенант: у командира отделения Сычугова болят зубы. Это первый признак.

Сержант Сычуглов тяжело, страдальчески посмотрел на меня и, глухо промычав, покачал головой, потом шлепнул ладонью по больной челюсти.

– А это вот Юбкин, – представил Чертыханов маленького бойца в очень длинной, почти до колен, гимнастерке, с закатанными до локтей рукавами. – Здорово! – Чертыханов присел возле него на корточки. – Бритвы в порядке, наточены? Юбкин, товарищ лейтенант, отлично бреет, даже не слышно... А вот фашистов бреет плохо, то есть не срезает их под корень...

– Почему же?.. – как бы оправдываясь передо мной, возразил Юбкин несмело. – Я стреляю. Только не попадаю. За все бои я, наверно, и не убил ни одного. – В его широко раскрытых мальчишеских глазах застыли обида и недоумение.

– Попадаешь небось, – успокоил его Чертыханов. – Только не замечаешь...

– У меня почему-то слезы навертываются на глаза, когда я стреляю, – согласился маленький Юбкин, – поэтому и не замечаю.

Лейтенант Смышляев, стоя сзади меня, бросил невнятно, сквозь зубы:

– Дельного бойца пули запросто отыскивают, а вот такая дрянь держится...

Я резко повернулся к нему. Смышляев выдержал мой сердитый, «уничтожающий» взгляд, хрустнул зубами, перегрызая травинку.

Возвращаясь на свой КП, я был твердо уверен, что немцы после вчерашних безуспешных атак и потерь в наступление не пойдут до прибытия свежих сил: выдохлись. Скорее всего они, получив подкрепление, двинутся завтра утром. Мы как следует укрепимся за это время и сумеем их встретить достойно. И оттого, что я, как мне думалось, разгадал намерения неприятеля, а вера в горсточку бойцов, которыми отныне я должен командовать, возросла, настроение мое поднялось, я даже весело засвистел.

Но мы не успели покрыть и половину пути, как меня безжалостно, наотмашь швырнул на землю, в колючий кустарник, внезапный и надсадный треск. В первый момент было такое ощущение, будто со спины у меня сдирают кожу – таким неистово скрежещущим был этот треск, так нестерпимо он ударил по нервам. Мне казалось, что каждая мина рвется над моей головой, и я парализованно лежал, все сильнее вдавливая лоб под сухую кочку. Чертыханов, лежа сзади, потолкал меня в каблук сапога, предлагая двигаться дальше. Я с усилием оторвал грудь от земли, заставил себя подняться и побежать. Падал и опять вставал, бежал. Треск, нарастая и ширясь, поднялся до нестерпимой, отчаянной ноты. Белые облачные паруса разлетались клочьями. В легкие забила кислая удушливая гарь. Казалось, мне не было места на земле – всюду, куда ни кинешься, вставали, закрывая небо, черные расщепленные столбы. С давящим ревом прошли немецкие штурмовые самолеты. Я увидел, как оторвалась бомба, подобная черной капле. Вот она, стремительно приближаясь и увеличиваясь, летит, кажется, на тебя. Прямо в переносицу. Ужас останавливает сердце.

Я дико закричал и откатился в свежую воронку.

Бомба разорвалась в отдалении.

Прорвавшись – где бегом, где ползком – сквозь огонь к своему КП, я скатился в яму, прохладную и глухую, под ноги политруку Щукину и телефонисту, сел на сырую землю, чувствуя подступающую к горлу тошноту.

– Если прямого попадания не будет, считайте, живем пока! – крикнул мне в ухо Чертыханов; он был внешне спокоен, только подергивал одной щекой, досадливо и презрительно морщась, когда мина лопалась рядом; широкое красное лицо его поблекло, будто полиняло.

Он мне показался в эту минуту самым близким на свете...

Политрук, поставив локти на край траншеи, неподвижно глядел в бинокль на вражескую сторону. Потом, как бы вспомнив обо мне, оторвался, спросил склонившись:

– Не захлестнуло? – Растрескавшихся губ едва коснулась улыбка – дорого стоит такая улыбка во время адского огня! – Вот как... Видишь... – Он не хотел замечать моего страха, будто его у меня и не было, опять стал смотреть в бинокль, давая мне оправиться от потрясения.

Треск и грохот наконец утихли, огонь перекинулся в наш тыл, оттуда, широко расстилаясь, наплывали прибойные, угрюмые раскаты. Глухой, грозной тучей нависла тишина. Телефонист кричал в трубку терпеливо, умоляюще, чуть не плача. Ответа не было. Связист, растерянно и вопросительно оглянувшись на меня, беспомощно развел руками, как бы говоря: «Это неизбежно при таком огне». В сердцах швырнул трубку и, поправив пилотку, прихватив винтовку, поспешно и решительно ушел искать разрыв проводов. Я понял, что подсказки от капитана Суворова не будет, – рассчитывай на свои силы.

– Идут, – известил Прокофий Чертыханов. – Не высовывайтесь, они патронов не жалеют, сыплют как горохом... Торопятся.

Из лесу, точно издалека, разбежавшись, выскочили танки – шесть машин – и, не сбавляя скорости, подобно лодкам на волнах ныряя вверх и вниз, устремились к нам. На широком лугу они казались безобидными, игрушечными. Солдаты сидели на танках и бежали следом, стреляя на ходу. Мне показалось, что им легко и весело было бежать за машинами. «Значит, они нас нисколько не боятся», – подумал я; злорадное, мстительное чувство до боли свело челюсти. Положить их на землю, заставить ползть... Вдруг, как бы угадав мое страстное желание, по всей луговине забили черные и густые фонтаны: стреляли наши артиллеристы. Солдаты попрыгали с танков, рассыпались по ложине, начали отставать. Они еще не достигли середины луга, а из лесу выкатилась еще одна волна – танки и солдаты. Снаряды густо устилали ложину, но ни одна машина не остановилась, не загорелась. Сначала я мысленно сдерживал бойцов: «Не стреляйте, подпустите поближе». Но когда танки, ведя огонь, тупыми носами почти уткнулись в траншеи и лица солдат можно было различить простым глазом, а бойцы все не стреляли, я испугался: не накрыло ли всю роту огнем. Но, вспомнив, что час назад сам приказал пулеметчикам не стрелять, пока не пройдут танки, чтобы не выказывать себя и не быть придавленными их гусеницами, я немного успокоился, со страхом и надеждой ожидая решающего момента.

Я посмотрел влево: один танк уже неуклюже вполз на гребень, развернулся и пошел вдоль линии обороны, сминая окопчики, глуша стрелковые ячейки, и я содрогался от бессильной ярости и сожаления: ведь в окопчиках-то люди! Но вот зад машины как будто подбросило, из-под него выметнулся клуб огня, дыма и пыли.

– Подбит! – закричал я возбужденно. – Смотрите, подбит!

Щукин не ответил. Дернув меня за рукав, он глазами показал направо: прямо на наш окоп шел танк, стреляя на ходу из пулемета. В его движении было столько грозной и беспощадной силы, что я почувствовал себя обреченным: мой автомат и пистолет для него все равно что комариные укусы слону. Это конец. Танк нависал надо мной черной непроницаемой глыбой, заслоняя все, что вмещает в себя коротенькое и такое бесконечно великое слово – жизнь. На какую-то долю секунды мелькнул яркий луч, в его свете я увидел лицо Нины, ее продолговатые,

налитые ужасом глаза, и что-то неведомое мне самому, но могучее толкнуло меня из ямы – бежать, спастись от гибели!

Чертыханов, схватив меня за ногу, обрушил вниз и придавил телом к земле. И в это время танк с лязганьем и грохотом, осыпая землю, тяжело накрыл окоп. Стало темно, как в могиле. Что-то заскрежетало и сухо лопнуло, оглушая, – должно быть, он выстрелил из пушки. Я невольно зажал уши. Сквозь пальцы потекло что-то теплое и клейкое, но боли я не ощутил. «Ранен!»

– Я ранен! – крикнул я Чертыханову.

Танк едва открыл яму, а Чертыханов уже вскочил, подпрыгнул и швырнул вслед ему бутылку с горючей жидкостью. И произошло непонятное: струйки огня, бледные, почти не различимые при жарком солнце, потекли по броне, отыскивая и проникая в невидимые щели, дым густел, чернел, затанцевали текучие пряди огня. Немцы вывалились через нижний люк, торопливо отползли от машины и, встав на колени, подняли руки – увидели перед собой Чертыханова и Щукина. Встрепанные белокурые волосы шевелились от ветра, в глазах трепетали последними отблесками жизни мольба, растерянность, злоба.

– Ох, не до вас нам сейчас, – сказал Чертыханов деловито, почти равнодушно – так говорят во время сложной и напряженной работы – и выстрелил из автомата.

И три танкиста, всплеснув руками, легли на чужую, неласковую землю, завещав женам и невестам горе и вечное ожидание.

Рота вела неравный, но упорный бой с немецкой пехотой, отсеченной от брони. По всей лощине, точно горох по большой жаровне, рассыпались автоматные и винтовочные выстрелы, размеренно и надежно били станковые пулеметы – значит, точки их уцелели. С этого момента то длинные, на высокой, тревожной ноте, то короткие, отрывистые, низкие очереди легендарного «максима» воспринимались мною как радостные, победные песни боя. Что-то сдвинулось во мне, точно я, разбежавшись, с усилием перепрыгнул бездонную пропасть. Я как бы опомнился и обрел себя в этом хаосе жизни и смерти. Что может быть страшнее вражеского танка над головой! А под ним я уже побывал...

– Где же ваша рана, товарищ лейтенант! – Чертыханов осмотрел мой затылок. Усмехнулся. – Это масло. Смазка накапала, картер у мотора худой. Все в порядке...

На луговине, на зеленой траве и в черных воронках, лежали убитые немцы – эти вояки уже не дойдут до Москвы. Вторая волна, редкая в лощине и густая справа, во ржи, с неотвратимой настойчивостью лезла к нашим окопам. Танки, уходя от огня, свернули и тоже двигались рожью. Это была мельчайшая частица вражеской Железной лавины, протянувшейся от моря и до моря, которая всей своей мощью обрушилась на нашу землю. И наша рота – тоже мельчайшая частица армии, протянувшейся от моря и до моря, – встала навстречу врагу. И от стойкости сотен тысяч таких же рот, как наша, зависели стойкость и успех всей армии.

Я кричал в телефонную трубку, надеясь связаться с Суворовым. Но голос мой безжизненно глож в самой трубке. А танки шли почти беспрепятственно: их нечем было остановить. Вдруг в трубке послышалось слабое шипение: телефонист, видимо найдя обрыв, соединил провода. Я с лихорадочной быстротой закрутил ручку аппарата. Мне отозвался спокойный, сдержанный Стоюнин. Он ответил, что Суворов, отлучаясь, приказал держаться во что бы то ни стало, что он, Стоюнин, передаст мою просьбу артиллеристам – перенести огонь правее, на ржаное поле. Я оказал, что иду в третий взвод к Клокову: там немцы не встречают сопротивления – очевидно, большинство бойцов выбыло из строя.

Я приказал пулеметчику передвинуться с ручным пулеметом на правый фланг. Прихватив четырех бойцов и связных, перебрался туда и сам; мы бежали среди кустов, то припадая, то подымаясь. Я уже забыл о себе, меня волновала и толкала вперед одна мысль: добежать вовремя, успеть, не дать немцам захлестнуть окопы. Немцы скапливались во ржи для броска. Казалось, каждый колос лопался и стрелял в нас. На какой-то миг перед глазами возникла

картина ночного пожара хлебов. Я спросил Чертыханова, есть ли у него бутылки с горючей жидкостью. Он поспешно вынул и собрал у бойцов еще четыре.

– Подоignite рожь, – приказал я.

Чертыханов понимающе кивнул и тотчас исчез среди кустов.

Рожь загорелась в трех местах. Дым сваливался на вражескую сторону. Пламя все шире заливало сухую, спелую рожь. Группа немецких солдат, перескакивая через красные, перекипающие лужи огня, нещадно стреляя, рванулась на наши окопы. Бойцы дрогнули, замешкались оглядываясь. Я уловил: если человек во время боя оглядывается назад – значит, его покинула решимость. Они стреляли бесприцельно, неуверенно. Еще минута – и бойцы один за другим выскакивали из-за окопчиков и, пригибаясь, отбегали или отползали.

Немцы в расстегнутых кителях, многие без головных уборов, дико крича и стреляя, с разбегу прыгали в траншеи, некоторые перемахивали через них. Захватив окопы, задержались. Ненадолго, но задержались.

И тут я увидел невообразимое, что может явиться только в сновидении: откуда-то справа вывернулся и мчался вдоль окопов перед глазами бойцов капитан Суворов на белом, точно высеченном из мрамора коне, с шашкой в поднятой руке. Лошадь, казалось, плыла, сказочная, не касаясь земли. Суворов, судорожно раскрыв рот, кричал что-то в яростном исступлении. Я разобрал два слова: «Орлы! Суворовцы!» Он пролетел, подобно птице, и даже немцы на какой-то момент были парализованы этим видением, внезапным и неповторимым. Я заметил, как кобылица, промчавшись мимо нас, наскочила на взрыв мины. Взвилась на дыбы, сбросив с себя бесстрашного всадника, метнулась на окопы, скрылась, ослепительно мелькнув в кустарнике. Капитан Суворов не встал.

Но он уже вдохнул в бойцов, в «суворовцев», свою отвагу. И меня хлестнула крупная, горячая, безрассудная дрожь. Спину ожгли колкие мурашки и, казалось, вздыбили волосы на затылке. Дикая, звериная ярость толкнула меня вперед. Я выбежал перед бойцами и закричал что-то тоже диким голосом. Мы рванулись с быстротой, которая является, быть может, лишь в смертельные моменты. Меня обогнал Чертыханов. Я видел, как горсточка бойцов закидывала окопы гранатами.

Передо мной вдруг возникла широкая спина немецкого солдата. Я увидел впадину на шее под коротко остриженным затылком и выстрелил в нее. Солдат, споткнувшись, сунулся лицом в землю, и я, пробежав мимо него, прыгнул в траншею.

Артиллеристы перенесли огонь на ржаное поле, танки повернули назад. Атака была отбита.

Некоторое время я сидел в окопе не шевелясь, сраженный смертельной усталостью, ощущая неживую пустоту во всем теле. Только в груди пронзительно, настойчиво, подмивающее радостно пела струна: «Жив, уцелел!!» Ликующая песня эта, подобно жаворонку, взвивалась к облакам, величаво проплывающим над головой; округлые, круто выпирающие бока их были налиты густым, прозрачной чистоты сиреневым светом. Было легко еще и оттого, что я убил в себе то, что прочно, корнями, вросло в меня и в моменты крайней опасности предательски хватало за сердце, вызывая тошноту. Человек, одержавший победу над врагом и над собой, радуется вдвойне. Отхлынувшие было силы, подобно прибою, вернулись. Настойчиво, повелительно стучала в виски суровая мысль: «Не бойся смелых решений. Будь увереннее в своих поступках, командир оценивается по решительным действиям!»

Ко мне подобрался Шукин, присел. На его побелевшем переносе четко проступили желтоватые крапины веснушек. Достал папиросу, размял ее дрожащими пальцами. Взглянув на меня из-под каски, пошевелил в принужденной улыбке растрескавшиеся губы, сказал невозмутимым учительским голосом.

– Для начала подходяще... – похвалил он то ли одного меня, то ли всю роту.



А я отметил не без зависти: какую нужно волю, чтобы сохранить такое хладнокровие!.. Щукин, прищулив глаза, глубоко затянулся дымом.

– Надо захоронить капитана Суворова, – сказал он и ткнулся лицом в свои колени, застыл...

Бой утихал, снаряды рвались реже. Ветерок доносил слабые стоны раненых. Ворожейкин смотрел на ефрейтора жалобно, просительно, изредка всхлипывая, и Прокофий проворно обкручивал марлей ногу, ворчал:

– Ты на меня так, по-младенчески, не гляди, я тебе не мать родная и не сестра милосердия, жалеть не стану и ласковых слов говорить не умею. Одно скажу: стрелял, как по нотам...

Рядом с Ворожейкиным уткнулся в низенький бруствер красноармеец, точно отдавал последний поклон родимой земле. От виска по щеке проползла и уже запеклась коричневая, почти черная кровавая струйка.

Из штаба от лейтенанта Стоюнина прибежал в роту связной Никифоров, нашел меня и передал приказ отступать. По возможности незаметно сняться с занимаемого рубежа и двигаться на восток, в направлении деревни Рогожка, оставив небольшое прикрытие. Приказ меня ошеломил. Мы отразили вражеские атаки. Мы выстояли!.. Зачем же нужно было вступать в бой, терять людей, лить кровь?.. Не было ли это предательством? Или обстановка, сложившаяся на других участках, вынуждала к отходу? Скорее всего именно так и было. Ведь нам виден фронт на полкилометра вправо и на столько же влево. Что делалось дальше, неизвестно...

К вечеру, уложив в братскую могилу комбата Суворова, мы отошли, оставив политую вражеской и своей кровью горящую землю. Курилась, горела рожь. Сизые крутые волны дыма, перемешанного с пеплом, перекатывались над полем, взмывали над лощиной, застилая приметы только что затихшего сражения.

## 4

Измученная боями рота отходила к хутору. С окопчиками и стрелковыми ячейками бойцы расставались с угрюмой принужденностью; не вперед рвались, а забирались в глубь своей земли, словно страшными вехами отмечая дорогу могилами погибших товарищей. Красноармейцы изнуренно шагали среди кустарников, пригибались скорее по привычке, чем по необходимости, с нескрываемой усталой злобой и опаской оглядывались на лесок, куда уполз, зализывая раны, враг. Немцы, кажется, зареклись наступать на нашем участке.

Два санитары, выбиваясь из сил, несли на носилках тяжело раненного Клокова; младший лейтенант лежал, расслабленно вытянувшись, рука, свесившись, задевала за листья кустарника, веки прикрытых глаз мелко вздрагивали, на лысоватый, восковой желтизны лоб его высыпал крупный пот. Политрук Щукин, обгоняя носилки, поднял руку Клокова и осторожно положил ему на грудь. За носилками, опираясь на самодельный костыль, ковылял пулеметчик Ворожейкин. Выгоревшие взъерошенные брови его страдальчески и плаксиво столкнулись над переносом, остренький юношеский подбородок мелко дрожал.

Пулеметчик, оставшийся для прикрытия роты, как бы упорно твердил врагу короткими и бодрыми очередями, что оборонительный рубеж крепко держится и будет держаться. Только сунься!

Отойдя немного, я остановился и поглядел на место своего боевого крещения. Солнце, как бы участвуя вместе с нами в сражении, истратило, как и мы, свой накал и обессиленно клонилось к закату. Оно окунулось в дым и, тусклое, без лучей и блеска, повисло, словно зеркало, задернутое черной траурной кисеей. На наш путь легла зыбкая и зловещая тень. К горлу подкатил сухой, полынно-горький клубок, мешая дышать, я сглатывал и не мог сглотнуть его, и от этого из груди вырвался глухой, со всхлипом крик, глаза как будто вспухли от едких обидных слез.

– Побереги нервы, лейтенант, – сказал Шукин и подергал меня за рукав. – Пригодятся на черный день.

Он шагал споро и неутомимо; спокойствие его казалось напускным и потому сердило.

– А этот день светлый, по-твоему? – Я отвернулся, чтобы он не видел моих слез. – Куда уж черней! Черней может быть только могила.

– Не до могилы сейчас, Митя, – проговорил Шукин озабоченно и задушевно – так говорят в минуту общей большой беды. – Нам до зарезу необходимо жить. Гитлеровцев выкуривать надо. Пускай это они о могилах мечтают...

Меня поразили убежденность и деловитость Шукина. Должно быть, только в нас, советских людях, так неистребимо и глубоко укоренилась вера в победу любого дела, какое бы мы ни начинали: вот мы отступаем перед натиском осатаневшего врага, измотанные, обескровленные, а сердце не сдаётся, сердце наперекор всему верит в победу.

Шукин опять легонько дернул меня за рукав:

– Я знаю, отчего ты плачешь. Ты мне становишься от этого дороже и ближе, Митя. Но на тебя ведь смотрят ребята...

Я круто повернулся и запальчиво крикнул ему в лицо:

– Зачем же мы положили этих ребят там?! – Резким взмахом руки я показал на темную тучу дыма, стоявшую над ложиной. – Зачем с таким остервенением цеплялись за этот овражек, калечили людей, добивались успеха – и добились, – если вслед за тем удираем? Куда удираем-то?!

– Не удираем, а, видишь, не спеша отходим согласно приказанию, – поправил меня Шукин. – А если бы мы не цеплялись за каждый овражек, то немцы, возможно, уже занимали бы сейчас Москву.

– Если будем и дальше так воевать, они ее займут! – Эта мысль мне самому показалась чудовищной, я поглядел на политрука со страхом и надеждой: хотелось, чтобы он меня немедленно опроверг, отчитал.

Уголки потрескавшихся губ Шукина опустились в улыбку; он ответил спокойно, все с той же убежденностью и верой:

– Немцам никогда не быть в Москве. – Приподнял тяжелую каску, вытер потный лоб рукавом гимнастерки – на меня блеснула ясная синева глаз, – опять опустил ее на голову, и глаза снова заслонила, подобно вуали, тень от каски. Потом он вынул из кармана запыленный кусочек сахара и протянул мне, улыбаясь краем губ: – На, подсластись...

Во рту у меня было горячо и сухо, сахар показался горьким.

– В бою ты держался молодцом, – похвалил Шукин. – Выдерживай марку до конца. Комбат Суворов убит; со штабом полка связи нет. Понимаешь положение? Что будем делать, давай сообразим...

Я с удивлением повернулся к Шукину: уж не растерялся ли политрук?

– Не погибать же оттого, что нет с полком связи, – бросил я со злостью. – Не мы ее потеряли. Я видел, с какой поспешностью бежал штаб. Но у нас целая рота, справа и слева – наши роты. Мы знаем, где восток и где запад! И хорошо знаем, где враг. Пока живы, будем воевать!

Шукин укоризненно покачал головой:

– Нам с ротной командной вышки не разглядеть всего фронта. Как идут там дела, нам неизвестно: наверно, не блестяще... А решение ты принял правильное: будем воевать, сколько бы нас ни осталось...

На хуторе возле сарайчика стояла белая комбатовая лошадь, запряженная в простую крестьянскую телегу. Потеряв в бою седока, она прибежала на старое место и теперь чутко прислушивалась к шагам и голосам людей – очевидно, надеялась, что появится ее хозяин. Из-под

накатов суворовского блиндажа вынырнул ефрейтор Чертыханов, как всегда расторопный и неунывающий, доложил, кидая ладонь за ухо:

– Обед и отдых будет возле деревни Рогожка. Старшина велел передать вам, чтобы мы тянули до этой деревни. Для раненых он оставил подводу. – Взглянув на Щукина, которого, видимо, побаивался, он доверительно, понизив голос, сообщил мне: – Для нас я тоже кое-что заготовил. – И повел глазами на телегу.

В передке ее стояла прикрытая сверху плащ-палаткой плетенка, в нее были втиснуты три курицы. Я понял, что парень этот не промах: он успел прихватить их у хуторских жителей и, вероятно, не без скандала. Я подошел к телеге и вытряхнул из плетенки кур; они с криком метнулись, хлопая крыльями, теряя перья. Чертыханов не обиделся, нижнюю губу его скривила кислая улыбка – так улыбаются над поступками незлыми, но неразумными.

– Незаконно отпустили птицу, товарищ лейтенант, – сказал он со снисходительным осуждением. – Не подумавши. Против себя идете, заклЯтым врагам помогаете. – На мой вопросительный и строгий взгляд пояснил: – Фашист поймает этих самых курочек, ощиплет, сварит, нажрется и попрет на нас с удвоенной силой. А у нас на обед и ужин пшениная каша без масла. Разве каша устоит против курятины?..

– Поменьше разговаривай! – оборвал я его.

– Есть поменьше разговаривать! – И опять громадная рука его тронула ухо.

Неловкий и нелепый жест этот казался чрезвычайно глупым, неуместным и раздражал. Я отвернулся. Подошел Щукин, снял каску и положил ее на телегу.

– Налицо тридцать один человек, из них четверо раненых. Рота... – Щукин тяжело и прерывисто вздохнул.

К сараю подтянулись бойцы, измученные, угрюмые, молчаливые; усталость словно подкосила их, почти все они сидели, разложив вокруг себя винтовки, оставшиеся гранаты, каски; ведро с водой переходило из рук в руки, пили через край, жадными глотками, обливаясь.

– Дадим передохнуть здесь или... – Щукин, очевидно по себе, чувствовал, как утомились бойцы. – Лучше все-таки уйти отсюда...

– Задерживаться нет смысла, – согласился я. – Надо дотемна добраться к месту ночлега. И кухня там, и безопасней.

Я позвал лейтенанта Смышляева, приказал ему построить роту и двигаться в направлении деревни Рогожка. Раненых положили и посадили на подводу. Бойцы неохотно, усилием воли, но терпеливо и безропотно вставали, вешали на себя оружие, так тяжело оттягивавшее натруженные плечи, пулеметчики впрягались в упряжку, чтобы тащить пулемет... Рота – вернее, жалкая горсточка людей, оставшаяся от полнокровной роты, сбившись в тесную группу, двинулась в свой долгий и горький путь на восток. Вскоре эта жалкая горсточка исчезла в лесу. О существовании ее едва ли знало теперь командование, но она, эта горсточка вооруженных людей, жила и готова была в любую минуту вступить с противником в бой: она потеряла связь со штабом, но сохранила связь с родной землей.

Неподалеку от деревни мы нашли наши «тылы» – единственную и желанную походную кухню. Старшина Оня Свидлер выслал навстречу нам красноармейца Хохолкова, повара и ездоного, чтобы мы не плутали попусту. Но и без него мы безошибочно шли к цели: дурманящий сознание, пронизывающий насквозь запах дыма и вкусной пищи заставлял нас почти бежать. Оня Свидлер, длинный, страшно худой парень с 'крупным горбатым носом, продолговатыми, всегда мерцавшими сухим блеском глазами и ровными зубами, ослепительно белыми на темном, прокаленном зноем лице, еще издали неунывающе-весело закричал бойцам:

– Торопитесь, товарищи! Объявляю программу торжественного ужина. Мы давно не ужинали в такой тишине. Сначала смываются с прекрасных боевых лиц пыль и пот – холодной воды полный котел, – затем мой ассистент, – жест в сторону Хохолкова, – произведет каждому вливание огненной влаги, затем ужин – такой каши не пробовал и царь Додон! Ну а потом

танцы до утра с храпом и сновидениями! – Она засмеялся, сверкая зубами. Ожили и заулыбались и лица бойцов: какую-то долю тяжести сняли с плеч шуточные прибаутки старшины. Люди загремели котелками, протискивались к большому котлу, чтобы зачерпнуть студеной воды. Многие стаскивали с себя гимнастерки и, фыркая, мылись до пояса.

Старшина приблизился ко мне.

– Товарищ лейтенант, я достал жбан спирту: артиллеристы проезжали и поделились... Разрешите угостить бойцов после ратного труда?

Я взглянул на Щукина: что он думает? Тот кивнул головой в знак согласия.

– Можно, – сказал я. – По сто грамм. Разведенного. А то уснут – пушками не разбудишь...

Свет заходящего солнца, как бы раздвинув дымный занавес над полем сражения, багряными потоками устремился в лес, красные струи текли между деревьями, жарко омывали бойцов, сидевших вокруг кухни на пенечках или просто на траве. Они уже приняли обещанное «вливание» и теперь с аппетитом ели кашу с мясом.

Я чувствовал, что в желудке у меня до тошнотной рези пусто, но есть не хотелось.

– Потом, – отказался я, когда Оня Свидлер подал мне тарелку с кашей.

Я с беспокойством всматривался в карту, стараясь определить дальнейший путь: он обрывался на двадцатом километре, карта кончалась. Я решил вести роту в направлении Смоленска; если не соединюсь со своим полком, то вольюсь в какую-нибудь часть – все равно в каком составе воевать.

Чертыханов по-хозяйски распряг лошадь, пустил пастись, спутав ее передние ноги; дал выпить спирту младшему лейтенанту Клокову; покормил его кашей, затем подошел ко мне.

– Поешьте немного, товарищ лейтенант, а не то ноги протянете без помощи немцев. Товарищ политрук, скажите ему...

– Что ты ему кашу суешь, ты ему стопочку предложи, – посоветовал Щукин.

– Я ему две предлагал. Отказался.

– Вот это зря, – осудил Щукин и обнял меня. – Выпьем-ка, Митя, за дружбу, за верность. Нам с тобой сейчас тесней надо держаться...

Мы выпили, поглядели друг другу в глаза, как бы говоря: судьба свела, разведет только смерть.

Чертыханов попросил меня подойти к телеге, где лежал младший лейтенант Клоков. Увидев меня, Клоков тихо, но отчетливо сказал:

– Оставьте меня здесь, в деревне. Я вам руки связываю... Оставьте.

– Ты что, бредишь?... – Просьба его меня поразила. – Никогда мы тебя не оставим.

Клоков болезненно поморщился и, прикрыв глаза, прошептал:

– Мне лежать хочется... В дороге меня трясет. Оставьте тут, в деревне...

Я не знал, что с ним делать. Вести его в таком состоянии дальше, не зная, что ждет впереди, было рискованно: без врачебной помощи он умрет, санитары лишь умели накладывать повязки. Оставлять – неизвестно еще, согласятся ли взять колхозники, – было жалко и опасно: гитлеровцы, найдя его, не пощадят.

Солнечные багровые потоки, расплывшись, завязли в туманных сумерках. Сон, крепкий, всесильный, словно ударил каждого наотмашь, бойцы лежали на плащ-палатках, на шинелях – одни раскинувшись, другие сжавшись калачиком, обняв винтовку, изредка невнятно и бредово вскрикивали. Деревья, закутанные в черные тени, стояли затаенно и чуждо. Одинокие и глухие звуки разрывов неслись над лесом, вершины сосен как бы перекидывали их все дальше и дальше. В деревне, как и в прошлую ночь, надрывно выла собака. Внезапно вырвалась какая-то ночная птица, почуяв людей, пронзительно взвизгнула и метнулась в сторону, всплеснув в ветвях крыльями. У моих ног, завернувшись в плащ-палатку, спал политрук Щукин, рядом с ним, спина к спине, трубно всхрапывал Чертыханов. Становилось свежо и сыrovато. Плечи мои зябко передернулись. Сколько предстоит еще таких ночей? Сколько боев? Перенесу ли

их все? Нет, лучше об этом не думать. У меня тридцать один человек, моя жизнь связана с их жизнью неразрывно, навсегда... Лошади, не отдаляясь от людей, щипали траву, фыркали, позванивая удилами. Этот нежный звон и сочное похрустывание плавно уводило далеко из этого леса, в детство, к ласковому огню костра в ночном на берегу Волги... Сон одолевал. Как бы разрывая слабую паутину дремоты, опутывавшую меня, донесся стон Клокова. Я встал и приблизился к повозке, где лежал младший лейтенант. Он бредил, скрипел зубами, лоб его был горячим и потным. Я понял, что Клоков борется со смертью. Отчаяние от бессилия помочь человеку, когда он сильно в этом нуждается, охватило меня. Что делать?

Из темноты выступил и приблизился ко мне Оня Свидлер, на плечах – шинель внакидку, ворот гимнастерки расстегнут, черные глаза сухо, воспаленно светились.

– Как он? – спросил Оня, кивая на раненого. – Ох, не выживет!.. Вы бы поспали, товарищ лейтенант. День обещает быть нелегким. Ложитесь. Я подежурю.

– У вас на завтрак есть что-нибудь? – спросил я.

Старшина приподнял руку, почти по локоть высывавшуюся из рукава с оторванной пуговицей на обшлагае, успокоил:

– Осталась каша с мясом, только подогреть. Запасся картошкой, мукой и сахаром на неделю. За мясом дело не станет, прихватим отбившуюся от стада овечку. Голодными не оставлю, можете мне верить, как себе. В НЗ литров восемь священной влаги. Когда будет очень худо, мигните... Товарищ лейтенант, ложитесь. – Оня сбросил с плеч шинель и подал мне.

– Разбудите политрука, – сказал я. – Его время стоять на посту.

Утром я проснулся от шума голосов. Бойцы, может быть впервые так хорошо отдохнувшие, уже гремели котелками, умываясь, плескали друг на друга водой, дурачились, как будто вчера и позавчера не провели они страшных боев и сегодня не предстоял им тяжелый переход, – жизнь брала свое.

Я поднялся и стал растирать одеревеневшую от неловкого лежания руку. В лесу было прохладно и звонко, обильная роса лежала на траве, отягощая листья сизыми жемчужными каплями. Солнце, по-видимому, только что взошло, жидкие, еще не греющие лучи робко сеялись сквозь листву. Упершись крепким хвостом в кору сосны, долбил под сучком лесной работага – дятел; древесная пыльца, вспыхивая, струилась вниз, присыпая траву.

Возле повозки, на которой лежал младший лейтенант Клоков, стояли две женщины: одна помоложе, другая постарше. Их привел по просьбе Клокова Прокофий Чертыханов. Женщины горестно, с материнским состраданием смотрели на раненого.

– Оставьте меня, – прошептал Клоков, когда я подошел к нему, и из-под его прикрытого припухшего века выкатилась слеза, скользнула к виску, оставив светлую дорожку. – Я, может быть, выживу тут...

– Вы только растрясете его, – подтвердила пожилая женщина. – Ну-ка дорога такая... А мы выходим, бог даст, и фельдшера найдем. Убережем от беды... Немец-то вон утихомирился, может, и не придет к нам: что ему делать в нашей глухомани...

Я взглянул на темные, загорелые и жесткие от работы руки женщины с утолщениями на суставах пальцев и подумал, что, может быть, эти чудодейственные материнские руки выхоят Клокова. Переглянувшись с политруком – тот едва заметно кивнул, – я разрешил. Бойцы помогли снять Клокова с телеги и положить на носилки; молодая женщина сняла с плеч клетчатый платок и осторожно подложила его под голову раненого.

– Мы сами донесем, – сказала пожилая женщина, когда я приказал двум бойцам помочь. – Носилочки только заберите... – Она внимательно смотрела на меня, будто припоминала что-то.

Сильное волнение сдавило мне горло.

– Спасибо, мать! – сказал я приглушенно.

Женщина отозвалась поспешно:

– Не за что! У меня сын так же вот скитается. Как взяли в первый день войны, так и сгинул: ни слуху ни духу. – Она не прослезилась: видно, выплакалась одна, втихомолку, и горечь осела в самой глубине, на дне души, навсегда, только натруженно, с хрипом вздохнула. – Эх вы, горемычные!.. Измордовал вас злодей проклятый!.. – И опять пристально взгляделась в меня.

Бойцы молча окружили повозку и носилки. Я встретился глазами с раненым Ворожейкиным; он стоял, опираясь на свой костыль, и с любопытством следил за женщинами и за Клоковым. Очевидно, он подумал, что я и ему предложу остаться в деревне. В глазах его вспыхнул испуг, лицо в крапинах веснушек слезливо сморщилось, припухшие губы с серебристым пушком по-ребячьи вытянулись.

– Не бросайте меня, товарищ лейтенант! – заговорил он всполошенно и, держа правую ногу на весу, опираясь на палку, заковылял ко мне, обходя телегу. – Я не хочу оставаться здесь! Я пойду с вами! Ползком пойду! Если надо, буду стрелять. Только не бросайте! Лучше уж расстреляйте тогда... – Споткнувшись об оглоблю, он чуть было не упал, вскрикнул от боли: – Не бросайте, товарищ лейтенант!..

Неожиданный порыв Ворожейкина, панический крик и всхлипывания произвели тяжелое впечатление на бойцов. Они как бы ощущали свою вину перед пулеметчиком: они здоровы, а он ранен, и ему приходится просить их не бросать его. Ворожейкин, очевидно, расценил свое поведение как малодушие, отвернулся и опустил голову.

– Что ты выдумал, Володя! Мы не собираемся тебя бросать. Вот дойдем до медсанбата, отправят тебя в госпиталь, отремонтируют ногу, и снова в строй придешь, за пулемет. Мы еще повоюем!..

Ворожейкин не обернулся, отошел, ковыляя, к кухне и сел на пенек.

Меня позвал Клоков. Когда я склонился над ним, он тихо попросил:

– Напишите жене, если будете живы... Опишите все как есть. Что я добровольно остался в деревне Рогожке...

– У Настасьи Брагиной, – заключила пожилая женщина. Она хотела взяться за носилки, но бойцы не дали ей, понесли сами.

– Прощайте, товарищи! – сказал Клоков и обвел взглядом бойцов.

Мы долго смотрели, как пожилая женщина миновала опушку леса и, высокая, прямая, медленно пошла тропой к своему дому. За ней следовали молодая женщина и бойцы с носилками. Было что-то торжественное и печальное в этом шествии; ярко и прощально блеснула в солнечном луче пряжка на снаряжении командира. И было такое впечатление, будто мы проводили младшего лейтенанта Клокова на подвиг, зная, что он никогда не вернется.

Бойцы с носилками и женщины уже приблизились к изгороди, и молодая поспешила вперед, чтобы отворить калитку, а я все повторял слово «Рогожка», стараясь прочнее закрепить его в памяти. Что-то знакомое и беспокойное слышалось в этом названии. Но это «что-то» неуловимо ускользало, вызывая досаду и раздражение. Где я слышал о Рогожке? Или читал?.. Я вставал, кружил среди елей, опять садился на серый, подгнивший пенек... Вынуть бы из головы надоедливую занозу!.. И вдруг меня точно ожгло, я вскочил: Нина говорила мне об этой лесной деревушке! Отец отправил ее сюда на летний отдых. Значит, она здесь вместе с Никитой Добровым! Сердце застучало гулко и больно. Я кинулся по тропе следом за ушедшими; за мной по пятам бежал, громко бухая тяжелыми ботинками, Чертыханов.

Перемахнув через зыбкие жерди в огород, я окликнул пожилую женщину. Пропустив бойцов с раненым во двор, она шла к колодцу за водой. Женщина вздрогнула от моего оклика, вернулась и прикрыла воротца. Я дышал тяжело, мне трудно было говорить – волнение сдавило горло, – я только жадно, с надеждой смотрел в ее морщинистое спокойное лицо с темными печальными глазами.

– Скажите, другой деревни Рогожки тут нет? – спросил я наконец.

Женщина поставила у ног пустое ведро; дужка ударилась о край резко и звонко.

– В другом краю где, может, и есть, а у нас тут одна, наша. – Женщина глядела на меня пристально и строго. – А тебе на что?

– Сюда из Москвы не приезжали на лето студенты? Девушка и парень?

– Приезжали! – Женщина тоже заволновалась, понизила голос. – А как звать? Может, Нина?

У меня задрожали колени, кровь отхлынула от лица; я оперся рукой о плечо Прокофия, боясь упасть.

– Да, – прошептал я. – Нина Сокол. А парень – Никита.

Женщина с недоверием взглянула на Чертыханова; тот, как бы приметив что-то, отдалился от нас, присел среди грядок моркови и репы.

– Она моя племянница, – заговорила женщина торопливо и озабоченно. – Отец ее, Дмитрий Никанорович, брат мне. Большой человек... А ты? Ты ее знаешь? – Я молча кивнул. – Как тебя звать? '

– Дмитрий, Дима...

– Ну вот и тебя теперь узнала! – Она неожиданно улыбнулась, лицо ее оживилось и помолодело, и мне подумалось, что это при имени Нины лег на него радостный луч. – А то я гляжу на тебя и гадаю: похожий вроде на кого-то. Они, Нина с Никитой, часто про тебя говорили. Он простой такой, веселый, все шутил... Меня величал милостивой государыней. – Женщина опять улыбнулась снисходительно и нежно. – Сядут за стол обедать или ужинать и начнут перебирать своих. Я многих запомнила: Тоня, Саня, Ирина, Лена. А больше все про тебя... Нина хмурилась, сердилась, не велела говорить про тебя. – Женщина подступила ко мне вплотную, коснулась рукой моего плеча. – Не заладилось, видно, у вас с Ниной-то? Не понравилась...

Я едва сдержал себя, чтобы не закричать от раскаяния, от любви к ней, к Нине, самой лучшей, самой дорогой на земле. Увидеть бы мне ее сейчас хоть на минуту! Я бы взял ее руку, нежную, почти прозрачную, и прижал бы к своим глазам – намного легче стало бы мне жить.

– Уехали они, – сказала женщина с сожалением, и рука ее, темная, натруженная, невольно потянулась к лицу, пальцы затеребили конец платка, губы дрогнули. – В тот же день, как грянула война, собрались и ушли на станцию... Да зайди хоть в дом-то, я тебе расскажу про них...

## 5

Когда Нина с Никитой появились в Рогожке, по деревне тотчас же разнесся слух: Нина приехала с мужем, – и любопытные бабы, найдя первый попавшийся предлог, потянулись ко двору Настасьи Брагиной взглянуть, какого королевича избрала себе в спутники жизни дочь замнаркома, киноартистка. Никита понимал причину столь обильного наплыва женщин и старался показать себя: шутил, щуря голубые, с хитринкой глаза, угощал ребятешек конфетами из объемистого пакета, смеялся, сверкая белыми слитками зубов. Бабы разочарованно переглядывались: слишком прост был он, совсем не гордый, здоровается со всеми за руку, от деревенского не отличишь – значит, невысокого полета птица. Когда же узнали, что никакой он ей не муж и не жених, они удивились еще больше: уж не хахаль ли? Но в Никите не было ничего от хахаля, да и Нина не такая девушка, чтобы так вот взяла и приехала с хахалем. Странные молодые люди в Москве, и отношения их непонятные...

Но вскоре Никита стал в деревне своим человеком. Почти неделю он не выходил из маленькой колхозной кузницы – вместе со стариком Степаном и молодым кузнецом Леонидом Брагиным, сыном Настасьи, ремонтировал инвентарь для уборки сена и хлебов, умело и сноровисто орудуя молотком и клещами, лихо расправляясь с горячим металлом; звонкий и бодрящий перестук несясь вдоль улицы за деревню, рождая в лесу целую россыпь веселых отголосков.

В полдень в кузницу приходила Нина и звала Никиту и Леонида обедать.



Однажды она появилась раньше обычного. Никита стоял в дымной полутьме и раздувал мехами угли горна, нагревая добела железный стержень; на его чумазом лице блеснула белая полоска – улыбнулся.

– Вы уже соскучились без меня, герцогиня?

– Очень, господин кузнец, сильно хочу есть, – шутливо ответила она, сторонясь искр, вздрагивая и морщась от резких ударов молотка по наковальне.

Кузнецы, с любопытством глядя на нее, сдерживали усмешку: слишком далека была эта девушка в цветистом сарафанчике, в широкополой соломенной шляпе, похожей на мексиканское сомбреро, от такой прокопченной конуры, где навалены в беспорядке плуги, жатки, бороны, груды ржавого лома, подков и болтов и где пахнет горелым железом.

Никита развязал фартук, обмыл в желтой воде сильные руки с закатанными по локоть рукавами и галантно, с поклоном подставил Нине локоть:

– Прошу, сударыня, рад служить для вас возбuditелем аппетита.

Они медленно пошли к дому, спасаясь от зноя в тени изб. За ними, поотстав, лениво плелся Леонид. Нина шагала легко и бесшумно, прямая и строгая, и Никита, покосившись на ее чеканный, немного высокомерный профиль, усмехнулся:

– Ты так гордо идешь, точно тебя ведет под руку сам Ракитин.

Он частенько донимал ее своим именем.

Нина резко выдернула из-под его локтя руку, длинные, чуть загнутые к вискам брови сердито взмыли вверх.

– Сколько раз я просила тебя не говорить о нем!

Никита мгновенно поддержал ее, воскликнул гневно, в тон ей:

– И верно! На черта я вспоминаю его, сукина сына, негодяя, подлеца!

Нина остановилась.

– Неправда! – сказала она, сердито и с презрением оглядывая Никиту своими темными продолговатыми глазами. – Он не подлец.

Никита тоже остановился, сокрушенно развел руки, с наигранным пафосом проговорил:

– О, сердце женщины – дикая, непроходимая тайга!

– Я запретила себе думать о нем, – заключила она уже тише.

– Ошибаетесь, повелительница, – мягко и с иронией возразил Никита, снисходительно глядя ей в лицо, затененное широкими полями шляпы. – Можно запретить человеку двигаться, связав ему руки и ноги, можно запретить видеть и говорить, завязав ему глаза и рот, но невозможно запретить ему думать – в этом несчастье, а скорее всего великое счастье наше. Мы свободны думать все, что хотим! – Нина грустно потупила голову. Он поспешил ее утешить: – Ничего, герцогиня, будет и на нашей улице праздник. Вот найдем себе самых красивых... – И осекся, вздохнул шумно. – Вру! Не найдем, Нина. Самая-то красивая на земле – она, вот бедато. Ох, наделали они нам хлопот, Ракитины, брат с сестрой!..

Никита был пожизненно, как он выражался, влюблен в мою сестру Тоню.

За обедом Никита много и с удовольствием ел, благодарно поглядывая на хозяйку, – тетка Настасья была рада приезду гостей и старалась угодить им, – смешил Леонида и его жену Алену, круглолицую, медлительную красавицу. Потом Никита и Нина вышли под окна, где было свалено свежее сено, накошенное самим Никитой возле огорода, в кустах. Нина певуче, нежно читала Блока:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,  
Не кляни же меня, не кляни!  
Мой поезд летит, как цыганская песня,  
Как те невозвратные дни...  
Что было любимо – все мимо, мимо...

## Впереди – неизвестность пути...

Никита беспокойно ворочался на сене, вздыхал:

– Нельзя мне слушать такие стихи: душа тает, словно воск на огне, и жалко делается себя: ах, не любит, ах, оставлен, ах, несчастненький!.. Мне надо быть твердым, как камень. Впрочем, читай: душа тоже любит, когда ее гладят по шерстке. – Вдруг он, как бы вспомнив что-то, приподнялся, в растрепанных волосах застряли сухие травинки. – Пойдем с нами на озеро. За карасями!

Нина отказалась:

– Ужение рыбы – преступное расточительство времени.

– О! Это – прекрасное расточительство! – воскликнул Никита. – Это магия, колдовство! Ты берешь простой крючок, насаживаешь на него червя и произносишь заклинание: «Взглянь, дунь, плюнь, рыбка, рыбка, клюнь, хорошо бы щука, вот такая штука, можно и карась, только не все враз, окунь, угоди, плотичка, погоди, а лягушка – пропади!» Потом три раза плюешь и закидываешь крючок в темную глубину, в неизвестность. И замираешь в ожидании. Это ожидание полно философского, творческого смысла. Ты спокоен, но душа твоя трепещет, фантазия рисует заманчивые картины того, как ты становишься обладателем необыкновенной рыбыны, почти кита, и люди завидуют тебе, слагают легенды! Мысль, пробив толщу воды, рыщет в глубине, отыскивает золотую рыбку и подводит ее к крючку, умоляет взять гибельного для нее червячка. В этот миг ты – воплощение зла и коварства. Но об этом не задумываешься. Весь мир перемещается на крохотный пробковый поплавок... Вот он дрогнул раз, другой – мольба возымела действие! Сердце у тебя останавливается, а руки дрожат. Тут уж не упускай момент, не растеряйся!.. Одно движение – и ты ослеплен серебристым блеском рыбьей чешуи. Плавнички горят, так и ласкают, будто лучи утреннего солнышка. Ты безмерно счастлив!..

Нина отложила Блока, тоже привстала, изумленно глядя на Никиту, с необычайным воодушевлением раскрывающего перед ней пути к счастью.

– Ты годишься в проповедники рыбного дела! – засмеялась она. – И я охотно пошла бы с тобой за карасями, если бы не талия... Тупое сидение с удочкой располагает к полноте, тело да, кажется, и мысли заплывают жиром. А я хочу сохранить стройность...

– Задача, достойная внимания, – живо согласился Никита. – А я пойду набираться жиру. Про запас...

– Когда ты будешь упрашивать рыбку сесть на крючок, присоедини и мою мольбу, – я люблю рыбу, жаренную в сметане. На талию она не влияет...

Никита и Леонид вышли на озеро в ночь. Они разожгли костер, из еловых веток устроили себе подстилки. Леонид, пошедший на рыбалку лишь из уважения к Никите, тотчас уснул, закутавшись в чапан. Никита долго прислушивался к шорохам и вздохам леса. Горящие сучья напомнили ему ночное на Волге, когда в овраг прискакала на жеребенке Тонька – амазонка с голыми коленками. Она села с ним рядом и огромными потемневшими глазами удивленно глядела на угли костра. «Видно, никогда не отделаться мне от этого ее взгляда», – с тихой и сладкой мукой подумал он и зябко поежился: тоска сосущее тронула сердце; ночная, в свежести, тишина, лесные вздохи обострили ее.

Он забылся, кажется, только на одну минуту и тут же проснулся. Сучья в костре истлели, дымились лишь их концы. С востока, все явственнее проступая и чуть розовея, надвигался свет, всей своей массой опрокинулся, широко охватывая лес, но, слабый, не пробил еще плотных ветвей, застрял на вершинах берез и елей – у корней стволов прочно держались ночные тени.

Никита не стал будить Леонида, взял свои и его удочки, ведро с червями и отошел к продолговатому лесному озеру, где водились жирные красноперые караси. На дальнем конце прибрежная кромка уже позолотилась зарей. Никита не спеша разматывал удочки и, насадив

приманку, кинул в воду один крючок за другим, ровным рядом воткнул концы удилиц в сырой, кисло пахнувший торфом берег. Затем он принес от костра пахучие еловые ветви, сел на них и, не спуская чуткого и настороженного взгляда с поплавок, закурил; дым он разгонял рукой, словно боялся, что рыба, учуяв запах, уйдет. Сидел в одиночестве с полчаса – будить Леонида не хотелось, да кузнец и не нужен был.

Полнокровный румянец зари оживил мертвенную бледность туманного утра; лес звенел от неистового птичьего щебетания, один край неба пылал, отбрасывая на лес красные тени, и вершины сосен и елей радостно пламенели, точно факелы. Пусть рыба пройдет мимо, не тронув приманки, и рыбак вернется ни с чем, все равно этот благословенный час восполнит все издержки, связанные с рыбной ловлей!

Никита оторвал взгляд от поплавок и прислушался: вдалеке, в западной стороне, возник приглушенный гул. Гул этот, близясь, мощно, полноводно ширился и усиливался, тяжело, гнетуще нависал над лесом. Бросив окурок и вдавив его каблуком в землю, Никита встал, повернулся в сторону наплывающего и все затопляющего гула – догадался, что ревели моторы. Вскоре над озером показались эскадрильи бомбовозов с чужими желтыми крестами на распластанных крыльях. На миг они, пролетая, затмили алую зарю восхода...

Подошел разбуженный шумом машин Леонид.

– Я думал, буря деревья рушит, – сонно проговорил он, зевая и почесываясь; верхняя губа за время сна еще больше припухла. – Самолеты, что ли, прошли? – Никита обеспокоенно прислушивался к удаляющемуся гулу. – Много? – спросил Леонид. – Я говорю, много ли самолетов-то прошло?

– Много.

– Вот служба! – сочувственно произнес кузнец, скривив рот в неотступной зевоте. – Ни воскресенье тебе, ни ночь-полночь – мотайся по небу... Дай закурить! Берет хоть немного? – Присев возле удочек на корточки, он зажег спичку и, заключив огонек в пригоршни, прикурил.

Вдалеке что-то ухнуло вразряжку: «Ухх, ухх, у-ух-ух!..» Вода в озере пошла рябью, как от толчков. По лесу пронесся шорох, точно кто-то невидимый встряхнул каждое дерево; птицы на минуту смолкли. Над сизой лесной кромкой, там, где станция, вздымалась, разбухая, белая с желтизной тучка.

– Что это? – Верхняя губа Леонида изумленно и встревоженно вздернулась.

– Не знаю. – Никита не мог понять, что все это значит. Взгляд его был припаян к поплавкам: один то скрывался под водой, то опять выныривал, – но Никита не видел их. Резко, рывками билось в груди сердце, сотрясая тело. Заныли ноги: парусиновые ботинки, намокнув от росы, высохли и точно тисками сдавили ступни. Он и этого не ощущал, переступая в беспокойстве с ноги на ногу.

Прибежала Нина, запыхавшаяся, босиком, с растрепанными волосами; глаза на бледном лице испуганно округлились, не мигали.

– Ты видел? Ты слышал? – торопливо заговорила она, подбегая к Никите. – Что это?

– Фашистские самолеты.

– Зачем они? Война?

– Выходит, что так. – Никите вдруг все стало ясно.

Да, война, о которой говорили в каждой семье, пришла. Она будет беспощадна, насмерть. Эта ясность вернула Никите его обычное спокойствие. Только с ироническим, добродушным спокойствием отныне покончено. Он стянул ботинки, расстегнул косоворотку, взял овчинный полушубок и двинулся было в деревню. Но вспомнил вдруг о ныряющем поплавке и вернулся.

– Черт с ними, с удочками! – крикнул Леонид. – Бежим скорее! – Он потянул к дому тяжеловатой, ленивой трусцой, везя по кочкам и пням конец чапана.

Никита молча вынул поблескивающего позолотой сытого карася, неторопливо, осторожно отстегнул его от крючка, по привычке взвесил на ладони и швырнул в воду. То же самое

сделал со вторым. Затем начал аккуратно сматывать лески, поворачивая в руках длинные удилица. Нина терпеливо ждала, следя за Никитой. В его размеренных движениях она угадывала силу и глубокое раздумье о случившемся. Свернув все шесть удочек, он связал их шпагатом в один жгут и положил на плечо.

– Надо немедленно ехать домой, в Москву, – сказала Нина, когда они вышли на тропу, ведущую к деревне.

В ее сдержанности Никита уловил звон до предела натянутой струны: еще одно прикосновение, и она лопнет. Он по-братски обнял Нину за плечи.

– Знаешь, – заговорил он мягко и задушевно, – сошлись на поединок жизнь и смерть, и слово «немедленно» сюда не подходит, оно от излишнего темперамента, который часто застилает глаза. Нужен холодный расчет, чтобы ударить наверняка. Так что спокойней, Жанна д'Арк...

Нина действительно успокоилась. Она даже улыбнулась Никите и, пройдя несколько шагов, спросила тихо, как бы подумала вслух:

– Что с Димой сейчас? Где он?..

– Ты, кажется, запретила говорить о нем?

– То время было вчера. Теперь другое... Люди должны быть вместе...

Никита внимательно посмотрел ей в глаза.

– Мы все, хотим этого или не хотим, будем вместе: война спаяет. А Дима... Думаю, он не засидится на Волге, за сарафан матери держаться не станет.

Нина чуть выше приподняла голову.

– Я не представляю себе, кто бы мог усидеть дома в такое время! – Она невольно убыстряла шаги. – Я думаю, Никита, война скоро кончится: ведь у нас такая армия, такие силы!.. Немцам дадут по зубам как следует – и конец. Мы, может быть, и в драку ввязаться не успеем. Как ты думаешь?

Никита помедлил: следует ли предсказывать конец войне, если она только началась?

– Ее конец за горами, за лесами... Нужно подняться на вершину, чтобы увидеть его. А вершину придется брать с боем...

Нина, резко обернувшись, тревожно дернула Никиту за рукав.

– Гляди, еще летят!

Над дальней, темной гривой леса, неся на крыльях блики утреннего солнца, проплыло на восток еще несколько немецких бомбардировщиков.

– Летят, гады, без зазрения совести! – отозвался Никита с тяжелой, свинцовой злобой, исподлобным взглядом провожая самолеты. – И никто им не препятствует! Гуляй по чужому небу во все стороны.

Самолеты скрылись из глаз, но взрывов на этот раз не последовало: видимо, устремились к дальним целям.

Никита все еще стоял, мрачно глядя себе под ноги.

– Приеду на завод, встану за молот – теперь в пять раз больше надо коленчатых валов. Без техники нам не осилить его. А когда мы ее, технику, накуем вдоволь? Для этого нужен не один день и не один месяц. Вот тут и решай, Нина, когда наступит конец войне... – Никита крупно зашагал к деревне, закуривая на ходу.

Дома тетка Настасья даже не пыталась задержать их. Прибегал из правления колхоза парнишка: Леониду велено явиться с вещами на призывной пункт. Она замесила пресные лепешки на троих.

... – Сперва сына проводила, Леонида, – сказала тетка Настасья, озабоченно и горестно глядя на меня. – Потом Нину с Никитой. До самой станции дошла...

...Долго стояли они, потрясенные, не узнавая станции. Угол вокзала был отхвачен бомбой. Кирпичи красным крошевом рассыпались в стороны, завалили, подобно гудам пунцо-

вых помидоров, дощатые столы пристанционного базара. Связисты, взобравшись на вершины склоненных столбов, натягивали оборванные провода. Три женщины катили тележку с рельсами к месту повреждения путей; две другие женщины торопливо засыпали глубокую воронку; мужчины в майках-безрукавках – форменные путейские куртки лежали рядом, – обливаясь потом, торопились уложить шпалы, рельсы, забивали костыли...

На станции царили тот беспорядок и нервное оживление, какие появляются у людей, внезапно застигнутых большой бедой. Огромное скопление людей, молодых и старых, – с детьми, с громоздкой кладью, неуклюже и наспех увязанной в узлы, – все, что первым попало под руку, подчас самое ненужное, забило пристанционные углы; сидели на земле, прямо на путях, на каменной платформе. Над ними раскачивались на проводе круглые разбитые часы – время остановилось. Ребятишки бродили по красному щебню, ковырялись в обломках, выискивая стекляшки, железки... Все эти люди торопились уехать от надвигающейся грозы. Ждали поезда. Паровозы парили на путях, им не было хода...

Когда пути исправили, всю ночь спешно пропускали эшелоны с важными грузами в сторону границы, оттуда – поезда с ранеными. В вагоны никого не сажали. Никита с Ниной просидели на станции ночь, день и еще ночь. Потом вернулись в Рогожку за продуктами.

– Надень свои спортивные штаны, Нина. Так будет удобней. Пойдем пешком, – решил Никита...

... – И пошагали они в Москву пешком, сынок, – закончила тетка Настасья и тяжело вздохнула. – Дойдут ли, нет ли...

– Дойдут, – успокоил я ее.

Еще раз попрощавшись с младшим лейтенантом Клоковым, мы с Чертыхановым вернулись в роту.

## 6

– Ну, как он там, Клоков? – обеспокоенно спросил Щукин, встретив нас.

За меня с готовностью отрапортовал Чертыханов:

– Определили, товарищ политрук. – Прокофий не забыл кинуть ладонь за ухо. – В клеть его положили, на перину. Может, и вправду отойдет, хозяйки над ним трясутся. Любовью залечат раны...

Старшина Оня Свидлер, приблизившись, тихо взял меня под руку, бросил на Чертыханова сердитый, сухо сверкавший взгляд; Прокофий, поняв этот взгляд, скромно отодвинулся в сторонку, к бойцам. По растерянному, тревожному виду старшины, пребывающего всегда «на взводе», готового на шутку, я понял, что произошло что-то неладное.

– Исчез лейтенант Смышляев, – сообщил Оня, понизив голос, озираясь по сторонам.

Я онемело смотрел на старшину, пораженный вероломством Смышляева. Щукин спокойно качнул головой, как бы подтверждая, что именно этого и следовало от него, Смышляева, ожидать. Свидлер в волнении потирал длинными пальцами выросшую за ночь вороную щетину на подбородке.

– Я видел своими глазами, как он сидел вон на том пне и изучал карту, – сокрушался Оня. – Откуда мне знать, что он замышляет, у него была осанка генерала армии, разрабатывающего гениальный стратегический план! Потом он проверил пистолет. Потом тихонько подошел к повозке, достал из-под брезента каравай хлеба, отломил краюху – проголодался, думаю, человек, пускай подкормится...

– В какую сторону он пошел? – спросил я.

– Не знаю. Я задремал. Только-только светать начинало. Если бы я догадался, что он готовится к одиночному путешествию, я бы ему немножечко помешал, можете быть уверены!..

– Черт с ним! – Шукин как будто даже с облегчением махнул рукой. – Польза от него невелика, а при удобном случае предал бы. Я в нем немного разобрался.

– Но это же дезертирство! – невольно вырвалось у меня. – За это расстрел! Предатель! – Я вдруг с удивлением отметил, что не мог припомнить, какой на вид был этот Смышляев; помню только вороночку на вздернутом подбородке да раздвоенный и будто сплюснутый плоскогубцами кончик носа. И эта гаденькая, таящая недобрый умысел ухмылка... Узнаю ли я его, если когда-нибудь встречу?..

Повар-ездовой Хохолков проворно раздавал завтрак. По лесу тянуло, как и вчера, ароматом жирной каши и дыма. Бойцы, наскоро проглотив положенную порцию, ополаскивали котелки, наполняли фляги водой, проверяли и прилаживали оружие.

Прокофий Чертыханов скинул ботинки, мыл ноги, экономно, тоненькой струйкой, поливая их водой из котелка. Круглое, кирпично-красное лицо его блаженно сияло, глаза жмурились, как у кота. К нему то с одной стороны, то с другой подсаживался, норовя заглянуть в лицо, носатый Чернов, насмешливо задирал:

– Ты бы лучше, Чертыхан, рыло умыл, вон его словно илом затянуло.

Прокофий не обиделся, только подмигнул с хитрой улыбкой.

– Главное у солдата – ноги. Мало им покоя от такой головы, как твоя: ноги у тебя длиннее ума. Значит, их надо держать в чистоте и холе: вольготней от неприятеля мотать.

Чернов засмеялся еще веселее.

– А ты пятки жиром смажь – еще легче будет тикать.

– Опять несурзное брякнул! – солидно разъяснил Чертыханов. – Не положено. Жир отпускается для употребления вовнутрь. А вот скипидаром мазнуть тебе одно место – вот это впору! Все призы забереешь, только загудишь, что твой пикировщик! – И оба они громко заржали.

Перед тем как сняться с места, политрук Шукин построил роту.

– Дезертировал лейтенант Смышляев, – объявил он со сдержанным гневом. – В этот трудный для Родины час дезертир, предатель и трус – злейшие наши враги. С ними мы будем рассчитывать самой жестокой платой. Мы закалились в боях с гитлеровцами. Нам теперь никакие трудности и опасности не страшны. Мы беспрекословно и свято будем выполнять приказ Родины: бить врага, где бы с ним ни повстречались!.. – Голос его был низким и суровым, добродушные учительские нотки исчезли.

Красноармейцы стояли перед Шукиным, молодые, заметно отдохнувшие за ночь и, казалось, равнодушные к его речи. Для них, с боями прошедших от границы до Смоленщины, побывавших в самых невероятных переплетах и не раз глядевших смерти прямо в очи, не такая уж большая утрата – Смышляев. А я подумал, что, может быть, другими словами следует говорить с людьми в такие моменты...

Через несколько минут рота начала свой путь на восток. Впереди плотной группой шагали стрелки. За ними два пулеметчика – похожий на Есенина голубоглазый Суздальцев и вместо Ворожейкина красноармеец Бурсак – на постромах везли свой «максим». Замыкал шествие обоз Они Свидлера – кухня, парная повозка с запасами продуктов, подвода с ранеными.

Первое время мы шли в тишине и одиночестве. Но в полдень, когда достигли крупной проселочной дороги, рота, подобно маленькому ручейку, влилась в бурный человеческий поток. Нас обгоняли грузовики с солдатами, боеприпасами и ранеными. Машины и лошади тянули пушки. Сбоку дороги группами и в одиночку тащились бойцы, усталые и потерянные, а многие из них и безоружные. Откуда они шли и куда, трудно было определить: печать горечи, утомления и безразличия лежала на лицах. Они не разговаривали и избегали смотреть в глаза, точно совершили что-то тяжелое и постыдное.

Наша рота не теряла бодрости и дисциплины. Бойцы с превосходством поглядывали на растерявшихся, будто заблудившихся красноармейцев – чувствовали силу своего единения. Солнце светило точно сквозь выпуклое стекло, жала остро и горячо. Неистовый и густой зной до звона прокалил и разрыхлил землю. Воздух обжигал легкие. Бурая, едучая пыль, вздымаемая машинами, покрывала плечи, каски и пилотки, омерзительно хрустела на зубах. Лица людей, обильно припудренные серым налетом, непроницаемо затвердели; брови на этих лицах казались старчески седыми и косматыми.

Пулеметчику Ворожейкину становилось все хуже и хуже. Раненая нога его безобразно распухла и отяжелела. Он лежал в телеге, в духоте, в жаре и пыли, и по-детски жалобно стонал, поминутно облизывая вспухшие, горячие губы. Чертыханов, шагая сбоку телеги, то и дело подносил ко рту его флягу с водой.

Я боялся смотреть Ворожейкину в глаза: в них столько было мольбы, надежды и нечеловеческой муки, что у меня нехорошо, пусто делалось на сердце. Я пытался отыскать медсанбат или отправить его с попутной машиной, но безуспешно: медсанбаты эвакуировались раньше нас, а машины безудержно катили мимо, не задерживаясь, обдавая нас пылью.

Вечером пулеметчик метался и горел, как в огне, беспрестанно повторял слово «пить» и сильно стонал. Ночью он впал в беспамятство, выкрикивал что-то невнятное, а к утру утих навсегда. Мы похоронили его неподалеку от дороги, на холмике. Это была еще одна забываемая веха на горьком пути отступления...

Ночевали мы опять в лесу, пройдя двадцать с лишним километров. Никаких следов полка мы не нашли, он как будто затерялся на бесчисленных полевых и лесных дорогах Смоленщины. На вопросы бойцов, куда мы идем, я ответил, что где-то впереди командование подготовило мощный оборонительный рубеж, оснащенный свежими силами и могучей боевой техникой, – об этот заслон должна разбиться вражеская лавина. Наша задача – достичь этого рубежа и встать на его защиту. Политрук Щукин только тяжело вздохнул, слушая мои объяснения: если бы это было так!.. За весь день никто нас не остановил и не спросил, кто мы такие, куда направляемся и зачем. Очевидно, всем было и так ясно: отступление.

Наутро мне удалось упросить медсестру, сопровождающую группу раненых, взять на машину и наших двух, – может быть, доберутся до госпиталя...

Дорога вывела нас на большак, еще более оживленный и пыльный. Он перерезал лесной массив. Справа и слева томились в зное березы, осины и ели; пыль высосала из листьев зеленые соки; серые, как бы обескровленные ветви уныло обвисли. Среди деревьев бесшумно двигались зелено-бурые тени красноармейцев.

Неподалеку от перекрестка с краю дороги стояли впритык грузовики, целая колонна, а чуть подальше – броневики и запыленная «эмка». Возле машины двумя большими группами толпились люди. Командирские голоса, выкрикивая слова команды, пытались подчинить эти беспорядочные группы дисциплине строя. Шедшая впереди нас кучка красноармейцев, заведя бежавшего навстречу им человека с пистолетом в руках, остановилась, помедлила секунду и вдруг рассыпалась. Бойцы брызнули в стороны, перемахнули придорожные канавы и, вскарабкавшись с судорожной поспешностью по крутому травянистому склону, скрылись в лесу. Старший лейтенант что-то кричал вслед, махая пистолетом, затем выстрелил вверх; в знойном воздухе выстрел прозвучал сухо и беспомощно, словно лопнул орешек.

Все так же махая пистолетом, старший лейтенант подбежал к нам.

– Стойте! – закричал он мне и поднял пистолет на уровень груди.

По бледному лицу, по бескровным губам и отчаянному нетерпению в побелевших глазах можно было безошибочно определить, что действия его давно вышли из подчинения рассудку. Я побаивался таких людей: указательный палец может шевельнуться в любой момент, а черная дырочка пистолета пронизывала меня, казалось, до лопаток. Но я шел на него прежним, давно уже одеревенелым шагом, чувствуя за собой силу – рота не отставала. Затем рядом со

мной встал политрук Шукин, спокойно и деловито вынув свой наган; Прокофий Чертыханов проворно снял с шеи автомат и выбежал чуть вперед, закрыв меня плечом.

Старший лейтенант пятился от нас, все так же угрожающе держа пистолет наготове.

– Стойте! – споткнувшись, почти истерично крикнул он. – Вы что?! Я таких пускал в расход! Предатели! На мушку вас всех!

Я почувствовал на спине мурашки, словно вдоль нее провели колкой щеткой; шевельнулись волосы на затылке.

– Подлец! – крикнул я, не помня себя. – Ты пускал в расход невинных людей! – Я шагнул к нему. – Тебя самого надо на мушку!

Старший лейтенант еще больше побледнел; его трясущиеся губы прошептали:

– Стой, говорю! Кто такие?

– А вы кто? – спросил Щукин. – Что вы играете оружием?..

Старший лейтенант кивнул в сторону машин, произнес упавшим голосом с глухой угрозой:

– Здесь генерал Градов!

Три красноармейца и сержант были выстроены вдоль дороги спиной к кювету, безоружные и растерянные. Они испуганно озирались, точно не понимали, что с ними хотят сделать.

Четыре красноармейца, стоявшие перед ними, вскинули винтовки, и дула их холодно и пронзительно глянули прямо в расширенные зрачки приговоренных к расстрелу.

У высокого тощего бойца бессильно повисли длинные, как весла, руки; пальцы их шевелились. У второго, маленького и, видимо, юркого, голова по-птичьи ушла в плечи, только испуганно торчал остренький, жалкий носик, розовый на самом кончике — с него сошла обожженная солнцем кожа. Третий выглядел измученным и равнодушным; он как бы говорил всем своим видом: делайте что хотите, ни бороться, ни жить нет сил. У сержанта по рябому пыльному лицу текли слезы; он два раза локтями поддержнул штаны и вопросительно поглядел на окружающих его людей, точно приглашая всех в свидетели несправедливого суда.

Генерал-майор Градов, сухопарый и весь до предела натянутый, как стальная пружина, отрывисто, с беспощадной четкостью скомандовал:

– По дезертирам, паникерам, отступникам...

Толпа за машинами дрогнула и притихла. Из леса, из-за листвы деревьев, глядели насто-  
роженные глаза притаившихся людей. Угроза применения оружия явилась крайней мерой,  
чтобы образумить людей, которым страх, усиленный слухами о мощи немецкой стальной  
лавины, уже затмевал взгляд, сознание.

Винтовки в руках стреляющих задрожали. Не дожидаясь конца команды, оглушительно грохнул выстрел. Пуля прошла поверх голов приговоренных, чиркнула по листве, сбивая пыльцу. Высокий и тощий боец рухнул на колени, рот его удивленно и немо приоткрылся; остроносый, востроухий, пронзительно, сверляще взвизгнул:

– Не стреляйте, товарищ генерал!

Один из красноармейцев, молоденький, губастый, весь в веснушках, вздрогнув от этого визга, выронил винтовку и, спотыкаясь, сделал несколько шагов к генералу.

– Не могу я, – едва выговорил он. – Что хотите делайте со мной, не могу стрелять...

В эту минуту мне показалось, что я постиг какую-то глубокую истину: являются моменты, когда в силу вступают наивысшие и беспощадные законы войны, и генерал применил такой закон. Ему было приказано любыми средствами остановить идущих и поставить их в строй. Я это отчетливо понимал. Но мне было по-человечески жаль этих ребят, таких же, как мы сами, и я по-мальчишески безрассудно кинулся к генералу Градову.

– Не стреляйте их, товарищ генерал! – крикнул я. – Не дезертиры они! Дайте их нам, в нашу роту, мы будем сражаться с врагами насмерть!

Старший лейтенант рванулся было ко мне с пистолетом в руке.



Генерал Градов неуловимым движением руки осадил старшего лейтенанта.

Тощий боец на коленях подполз к генералу.

– Куда хотите пойду! В огонь пойду...

– Встань! – приказал Градов.

Боец с усилием поднялся на свои длинные ноги. Генерал кивнул старшему лейтенанту:

– Сырцов, дайте винтовку.

Тот кинулся к грузовику.

Отходя к своей роте, я заметил, что кузова машин были беспорядочно завалены разного рода оружием – дула, приклады и треноги торчали вкривь и вкось: должно быть, бойцы, проходя мимо, швыряли оружие как попало, чтобы идти налегке...

Генерал принял от старшего лейтенанта винтовку и передал ее бойцу.

– Возьмите оружие, – сказал он, возвысив голос, – и никогда не выпускайте его из рук!

Боец, бросивший оружие, – уже не боец, он просто никто, а для Родины – пустое место.

Боец схватил винтовку, судорожно прижал ее к груди и пробормотал, тараша на генерала преданные, блестящие радостью круглые глаза – остался живой:

– Не выпущу! До самой смерти не выпущу!..

– Марш в строй! – бросил генерал кратко.

Все четверо метнулись за машины, к группе бойцов...

Градов, подойдя к нам, окинул молчаливым и укоряющим взглядом нашу роту, как бы сжатую в один крепкий кулак. Рот его был плотно стиснут, желтоватая кожа на скулах натянута, в глазницах – фиолетовая темнота; такой непроницаемой темнотой окружают глаза бессонница, ни на минуту не затихающее беспокойство, мытарства по дорогам... Колючий, сощуренный взгляд его коснулся и меня.

– Бежим, лейтенант? – спросил Градов с едкой иронией. – Ишь рыцарь!.. Искатель справедливости!..

Я был уверен, что именно такие генералы, как этот, не имея мужества выстоять перед вражеским натиском, приказывают нам покидать передовые линии. Я стоял перед Градовым навтыжку и с нескрываемой враждой глядел в его прищуренные, колючие глаза, отступившие в фиолетовую темноту глазниц.

– Отходим согласно приказу в восточном направлении, – ответил я отчетливо, потом прибавил не без гордости: – Рота к бою готова!

Генерал еще раз окинул взглядом бойцов, насквозь пропеченных зноем, пыльных, изнуренных и угрюмых. Поверил он в боеспособность роты или нет, трудно сказать, он только сочувствующе мотнул головой, кратко бросив мне:

– Пройдите к майору Языкову!

– Товарищ генерал, разрешите взять оружие и боеприпасы! – попросил я, указывая на машины-арсеналы.

– Разрешаю. Берите, дружок, сколько вам нужно. – Генерал устало провел ладонью по глазам; этот мягкий, человеческий жест заставил меня поверить, что ему, Градову, так же тяжело, как и мне, а возможно, и еще тяжелее, что и без моего заступничества не расстрелял бы он людей...

Возле меня тотчас очутился Оня Свидлер, склонился к моему уху:

– Пошарить в машинах?

– Поищи противотанковые ружья. Возьми побольше гранат и патронов.

Политрук Щукин отвел роту в сторонку; бойцы расположились отдохнуть в кювете, на придорожной, седой от пыли траве. Лошадь капитана Суворова, как бы смирившись с оскорбительной упряжкой деревенской клячи, покорно стояла в оглоблях, била копытом и взмахивала мордой, отгоняя злых и прилипчивых мух и слепней. Я поспешил к майору Языкову.

– Командир стрелковой роты лейтенант Ракитин! – доложил я.

Майор даже не взглянул на меня. Маленький и пухлый, с круглыми румяными щеками, он выглядел запаренным; едкий пот заливал ему лицо, капал на блокнот, в который он что-то записывал; листок бумаги все гуще покрывался фиолетовыми звездочками расплывающегося в каплях химического карандаша.

– Сколько? – спросил он.

– В строю – двадцать семь. Двое обеспечивают тылы...

– Никаких тылов! – Майор тряхнул головой, смахивая с лица пот.

В это время из-за леса взмыла тройка немецких самолетов. Они перечеркнули небо над дорогой, ушли и снова вернулись, как бы дразня нас своей безнаказанностью. Было до слез обидно от этой разнузданной наглости, хоть превращайся в снаряд сам и поражай их!

– Этого еще не хватало! – возмутился майор Языков.

Бойцы знали, чем это пахнет, – над их головами не раз висели вражеские самолеты. Когда майор оглянулся, он увидел пустую дорогу: люди растворились в лесу, полегли в придорожных канавах.

Один из самолетов, снизившись, выпустил короткую пулеметную очередь. Пули прострочили дорогу, взбивая фонтанчики желтой пыли. Строчка прошла возле ног генерал-майора Градова. Он стоял посреди дороги один и мрачно, со злой тоской шурился вслед самолету, должно быть, также возмущенный их наглостью. Второй самолет сбросил тракторное колесо; оно глухо звякнуло, покатилося, кувыркаясь, в канаву. Третий распустил темную струю дыма или пыли; пыль эта, оседая, покрыла черными жидкими крапинами листья, плечи бойцов, окропила генерала Градова, – летчики из озорства, издеваясь, полили людей мазутом. Градов вытер щеку платком, недобро усмехнулся «невинной вражеской проделке»; прищуренный взгляд, провожавший самолеты, говорил: «Ну погодите, рассчитаемся и за это!..»

Я вернулся в роту. Старший лейтенант Сырцов преградил мне дорогу – пытался, видимо, объяснить свое поведение. Он даже улыбнулся, пугливо и гаденько.

Я бросил ему сквозь стиснутые зубы:

– Уйди с дороги!

Сырцов вздрогнул, его побелевшие глаза расширились, а рука по привычке рванулась к пистолету...

Старшина Оня Свидлер, следуя закону: любую передышку использовать для пользы дела, – очищал походную кухню, угощая ребят обедом в холодном виде: мало ли что произойдет в следующую минуту, сытые легче переносят невзгоды.

Бойцы расселись вдоль кювета и на самом дне его, где земля была немного похолоднее – лица их были разукрашены черными веснушками мазута, – делили между собой патроны и гранаты. Противотанковое ружье подсовывали ради потехи маленькому и щупленькому Юбкину. Тот возмущенно и почему-то брезгливо отпихивал его ногой.

– На черта сдалась мне эта жердь! – кричал он, выведенный из терпения надоедливymi и некстати развеселившимися товарищами; но большие, круглые, точно нарисованные глаза его оставались неподвижными и по-девичьи ласковыми. – Я под винтовкой-то гнусь в три погубели. Я, товарищ политрук, кроме ножниц, никакого оружия сроду в руках не держал...

– Бабы локоны гладил, – не без ехидства пояснил долговязый носатый Чернов. – Хороша работенка, не пыльна...

– Бери, бери! – настойчиво совал Юбкину ружье сержант Сычугов. – Танк подшибешь, он тебе и взовьет кудри черные.

Юбкин опять отпихнул сапогом гладкий и длинный ствол.

– Что ты пристал! – грозно взвизгнул он и тут же умолк, виновато взглянув на Щукина. – Я до смерти боюсь этих танков. Рычат, как дикие звери, сердце в пятки закатывается...

Бойцы дружно рассмеялись.

– Куда же ты денешься, если танк прямо на тебя поперет? – допытывался Чернов, выскабливая со дна котелка холодную кашу. – Ножницами проткнешь или сердце в пятки – и наутек?

Юбкин тоже рассмеялся.

– Зачем наутек? Я за Чертыханова спрячусь. Он их, как орехи, шелкает...

– Ладно, – плутовато согласился Прокофий. – Я буду шелкать орехи, а ты ружье носить. Юбкин – мой Санча Панса, ружьеносец и брадобрей!

Ребята опять засмеялись. Юбкин на этот раз обиделся; вскочив на колени, жестикулируя, он с неожиданной горячностью накинулся на Чертыханова.

– Брадобрей! – передразнил он. – Много ты смыслишь в этом деле! Я не хвосты лошадям подрезал, как ты, а женщинам головы убирал. Знаете, товарищ политрук, какие я делал прически?.. Придет ко мне ну прямо, извините, простая баба, а уходит королева!..

– Теперь, товарищ политрук, в Горбатове простую женщину и не встретишь, одни королеванные особы выступают! – быстро и обрадованно откликнулся Чернов. – Мы сейчас, Юбкин, держим курс прямо на Оку. Случится, что немец поможет достигнуть и твоего Горбатова. Тогда я обязательно сделаюсь принцем крови.

– Нашел чему радоваться, дурачина! – одернул Чернова Прокофий. – Курс на Оку! Эка прелесть!.. Ты о Берлине думай. Вот там уж не теряйся, подхватывай какую-нибудь баронессу Лихтенбергскую...

Чернов возразил серьезно:

– Рад бы так думать, да фашист своими налетами, бомбами да минами все думы из моей головы выколачивает...

– Эх, ребята! – с сожалением проговорил белокурый и голубоглазый Суздальцев. – Швыряет нас фашист, как ветер-завихряй – листья. Мотаемся мы по свету. Но это ничего, все перетерпим... Об одном я болею: все вынесу, на коленях всю землю исползаю, одолею голод, страх, невзгоды, мытарства... Только бы не вышибло меня из игры раньше срока, только бы не отстать от наступающих! Не пропустить зарю победы...

– Не ко времени такие праздные мысли заимел, – авторитетно заметил сержант Сычугов. – Они при нашем положении – лишний груз для головы. Балласт.

Чернов утешающе и с веселым сочувствием похлопал пулеметчика по спине.

– Протопают наступающие мимо твоей могилки, Сережа, прямо на Берлин, крикнут тебе: «Спасибо за победу, пулеметчик Суздальцев!» А ты уж и не услышишь... Рановато ты ввязался в драку, волос не останется к концу войны...

– Опять ты, Чернов, дурак, как по нотам! – неодобрительно одернул его Прокофий Чертыханов. – Солдат ты ничего, при большой нужде и за настоящего сойдешь, и сноровка с фашистом управляться налицо, а вот соображения в тебе, или, проще сказать, тактичности, – с воробьиный нос. Не больше. Ты о могилке сказал бы мне. Я бы тебе ответил: сперва я вобью осиновый кол в могилу Гитлеру, потом с победой вернусь домой, наживусь вдоволь, потом тебя, дружка любезного, черта носатого, провожу в царствие небесное, а потом уж и сам лягу, окруженный не меньше как полсотней внуков...

– Вот это стратегический план! – воскликнул сержант Сычугов. – Пятилеток на двадцать рассчитан. Ну, перспектива!..

– Вот вам и перспектива! – На круглом, кирпичного цвета лице Чертыханова сияла плутовская ухмылка, неуклюжие пальцы ловко сворачивали из газетной бумаги громадную цигарку. – А ты – могилка!.. – не отставал он от Чернова. – Суздальцев – поэт. Ему без мечты нельзя. Он мечтает о победе, как о самой что ни на есть красавице. И пускай мечтает, пускай надеется, пускай верит. Кто верит, тот и поженится, как по нотам...

– Суздальцев о красавице мечтает, а женится на ней другой. Вот это наверняка будет, как по нотам... – Чернов подполз к Чертыханову, прошептал, указывая на меня глазами: – Разузнай-ка у лейтенанта, в какую сторону мы лыжи наострим...

Чертыханов строго выпрямился и осуждающе покачал головой:

– Очень у тебя длинный нос, Чернов, вот и суешь ты его куда надо и куда не надо! Поубавить бы его не мешало...

Ребята рассмеялись. Чернов отодвинулся обиженный, проворчал с прозрением:

– Эх, кирпич ты несуразный! Ступа неповоротливая! Жмот!..

– А ты разбежался: сейчас я тебе все тайны выложу, нанизывай на свой длинный нос.

Чертыханов умолк: по дороге шла такая же, как наша, группа человек в пятьдесят, организовано, сбитно, – тоже, должно быть, остатки роты... Командир, поговорив с генералом, побежал к майору Языкову.

Мы с политруком Щукиным сидели в нескольких шагах от своих бойцов и рассматривали карту: в составе только что сколоченного из разрозненных групп батальона нам предстояло пройти двенадцать километров в южном направлении. Задача – обеспечить переправу наших войск через Днепр.

## 7

К переправе рота прибыла ночью. Последние четыре километра мы двигались навстречу бесконечным эшелонам наших войск, уходящих на восток. Это были кадровые части, которые долго и успешно могли бы защищать оборонительные рубежи, но которые в силу создавшейся положения на всем фронте должны были отступить.

В сумраке, насквозь пропитанном все той же удушливой пылью, проходили люди, тянулись обозы, сердито ревели моторы тягачей, тащивших мертвые стволы пушек, на ощупь ползли, пересыпая пыль, буксуя, грузовики с потушенными фарами... Каждая ночь являлась расцвеченная кровавыми пятнами пожарищ – где-то, близко или далеко, что-то горело. Словно взорвалась плотина, прочно преграждавшая путь огню, и он, как после долгого заточения, выплеснулся на свободу, радостно завихрился по земле, заметался, наслаждаясь своей разрушительной и непокорной силой. Ненасытно, играючи пожирал он все, что долго, с любовью, не жалея труда, свивал, строил, растил человек: очаги, запасы хлебов, школы, опаленные жаром, свертывались и чернели еще дедами возвращенные плодоносящие сады... На багровом фоне зарев молчаливая и печальная процессия людей, подвод и машин казалась темной и страшной – не люди, а тени...

На мосту царило беспорядочное смешение голосов, топота ног по скрипучему настилу, шума работающих моторов; сквозь этот гул прорывались вдруг злая ругань, нетерпеливые, хлещущие автомобильные сигналы и визжащее, точно предсмертное, конское ржание. Движение по мосту оборвалось. Шаткие деревянные перила гнулись и трескали; людской поток, скатываясь с того берега, напирал все сильнее. Робкий лучик фонарика, скользнув по длинному стволу пушки, осветил высунувшегося из кабины шофера с перекошенным от ярости и нетерпения лицом, оскаленную морду лошади – ездовой удилами рвал ей рот, – прокрался по каскам столпившихся красноармейцев и упал вниз.

На помосте судорожно билась, пытаясь встать, упавшая лошадь: в настиле была взломана доска, лошадь угодила в пролом передней ногой, а повозка провалилась двумя колесами, накренилась набок, прочно закупорив дорогу. Напиравшие сзади кричали и ругались.

– Выпрягай свою клячу! Прочь с дороги! – Бойцы пытались сбросить повозку в реку. Но тяжело груженный воз накрепко врезался в настил. Ездовой ошалело орал на лошадь и в бессильном и растерянном озлоблении бил ее вожжами. Человек с фонариком оттолкнул его.

– Опомнись! Хочешь ноги коню сломать? – Слабый луч фонарика опять скользнул по лицам бойцов. – Видите, встать не может. Надо поднять. Ну, живо!

Люди, неохотно повинувшись команде, окружили лошадь, нагнулись.

Над рекой в темном небе прошел вражеский самолет-разведчик. В общем гуле звук его был едва различим. Но темнота внезапно дрогнула и раздалась: над головами, вспыхнув, повис осветительный снаряд. Зеленовато-прозрачный, зловещий свет его озарил искаженно мост, забитый людьми, машинами и повозками, людей и машины на спуске, черную, в колеблющихся холодных отсветах воду Днепра, красноармейцев, поднимающих лошадь, бойцов моей роты, ожидающих перехода на ту сторону. На минуту все смолкло, застигнутое и скованное этим трепетным, таящим в себе угрозу сиянием. И тогда явственно различился звук кружащего над переправой разведчика. Нетерпеливое оживление – неразборчивые голоса, топот копыт и сигналы машин – всплеснулось с удвоенной силой: угрожающе закрипели перила, и кто-то с ужасом вскрикнул, срываясь в воду. Послышался сильный всплеск падающего тела, затем полетели слова:

– Гребите по течению! К левому берегу! Держись за сваи!

Холодный мигающий свет ракеты жег глаза, от него некуда было деваться, и это возмущало и озлобляло: действие разыгрывалось на глазах у немецких летчиков. Прижатый к перилам боец, лихорадочно растолкав привалившихся к нему людей, поспешно снял с шеи автомат. Раздалась одна очередь, вторая, третья... Пули рассекли парашют: фонарь, зеленовато мигая, стал быстро снижаться и вскоре упал в воду; пламя зашипело и погасло. Темнота, как бы затаившаяся по сторонам, вдруг кинулась на мост и непроницаемо сомкнулась над головами. И только одинокий лучик фонарика по-прежнему блуждал на мосту, выхватывая из темноты то испуганный, дикий глаз лошади, то лицо красноармейца, то дуло винтовки.

Лошадь поставили на ноги, колеса повозки выдернули из щели: майор приказал закрыть пробоины бревнами, чтобы не провалились идущие следом. Заметив столпившихся бойцов нашей роты, майор направил фонарь мне в лицо, крикнул раздраженно и с недоумением:

– Куда вас черт несет, лейтенант! Не видите, что творится?! Пробка!

– Нам приказано до утра укрепиться, чтобы обеспечить переправу, – сказал я. – Пропустите нас, товарищ майор.

– У них, товарищ майор, на том берегу назначено свидание со смертью, – пробасил стоящий рядом с майором сержант в тяжелой каске. – Пускай идут.

Майор бросил сержанту кратко через плечо:

– Помолчи! – Он повернулся ко мне и посоветовал уже дружелюбнее: – Пробирайтесь, дружище, вдоль перил, цепочкой... Подождите только, когда тронемся.

Движение возобновилось, каблучки и копыта застучали по настилу, поползли, упираясь радиаторами в повозки, грузовики – бесконечный и бурный поток прорвался.

Осторожно прижимаясь к расшатанным перилам, рискуя быть скинутым в реку, я прошел мост. За мной так же осторожно и опасливо двигался Чертыханов со своим ружьем, за ним – бойцы, несущие на плечах ящики с патронами, гранаты; станковый пулемет протащили с трудом, он задевал то за оси встречных повозок, то за колеса машин; бойцы, спотыкаясь о него, чертыхались; в одном месте «максим» чуть было не полетел в воду...

Старшина Оня Свидлер отвел лошадей в укрытие – в невысокий осинник возле дороги – и, оставив при них ездового Хохолкова, перебрался вместе с нами на правый берег. Он сложил ящики под мостом и вместе со мной, Щукиным и Чертыхановым взобрался на берег, чтобы знать, где расположится рота.

От берега уходила вдаль равнина, очевидно поросшая мелким кустарником, какой растет на заливных лугах, – в темноте трудно было определить точно. В отдалении выступала на фоне красного зарева ломаная линия холмов; там, на этих холмах, и дальше, за ними, вели тяжелые бои наши войска. Рота должна была оборонять непосредственно переправу, растянувшись от нее справа. Окопы рыть было некогда, обрывистый берег служил защитой, бойцы только осыпали землю, чтобы удобнее было стоять и вести огонь. Для пулемета наскоро вырыли гнездо, сверху навалили несколько досок, брошенных возле моста саперами.

Слева от переправы заняло оборону другое подразделение.

Поток войск не прерывался ни на минуту до самого рассвета; они уходили, чтобы там, дальше, занять рубеж, укрепиться...

Зарево померкло в тусклой рассветной мгле, и холмы проступали явственнее, мохнатые от листвы, с голыми, выжженными макушками. За ними, ширясь и разрастаясь, уже гремел бой. Мелкие группы кустов, точно скатившись с высокого гребня, испуганно разбежались по равнине и замерли в беспорядке, не достигнув реки. Среди этих кустов по дороге и напрямик спешили к переправе войска, угоняя военную технику.

Темнота еще не рассеялась до конца, а над холмами, над поймой, над рекой и над левым берегом уже распластали крылья вражеские бомбардировщики – ночной разведчик не зря вешал над мостом свой фонарь. Воздух полнился их угрожающим и томительным рокотом.

– Двенадцать, тринадцать, четырнадцать... – считал Прокофий, следя, как самолеты тройками взмывали из-за холмов, – двадцать один, двадцать два, двадцать три... Эх, черт, сколько их, прямо рой! Откуда только берутся... – Он сокрушенно покачал грузной головой в каске, ожесточенно сплюнул и перестал считать. – Сейчас начнут молотить, как по нотам... Глядите, заходят, карусель строят... – Он жалобно, прощающе поглядел на меня своими круглыми и вдруг такими мудрыми и скорбными глазами, что у меня сердце стронулось с места и тоскливо покатило вниз, вызывая ощущение сладковатой, обессиливающей пустоты: это конец. – Вы хоть под обрыв прижмитесь, – попросил Чертыханов с отеческой заботой, – вот так. – Он вдавил себя в рыхлый грунт, вобрал голову в плечи, закрыл ложей автомата висок. – Все-таки гарантия. – И вдруг осклабился своей плутовской ухмылкой: – Так гуси прячут головы под крыло, думают, что их не видать...

Я оглянулся на восток. В лицо мне брызнули теплые лучи солнца. Оно только что взошло, еще сонное, но такое дружелюбное, ласковое, что я сладко смежил глаза, как в детстве. И тотчас представилась мать, мирно сидящая на крылечке в суетливом обществе кур и цыплят; когда я забирался на ветлу к грачиным гнездам, она обмирала: «Слезь, Митенька, разобьешься ведь!» Если бы она увидела меня сейчас на далекой, незнакомой реке, вдавленного в обрывистый берег, и знала бы, что хода назад нет, она упала бы замертво от ужаса и страха за мою жизнь.

Я взглянул на товарищей своих, на бойцов. Возможно, и они, каждый из них, думали в этот страшный миг о своей матери... Мама!.. Первое слово, которое мы слышали и научились говорить, было «мама». В нем заключено все светлое, незапятнанное и нежное, что человек бережет до конца своих дней. Утром, на заре, тихим голосом она пела нам песню жизни; ее руки качали нас и поддерживали, когда мы делали первые, еще неуверенные самостоятельные шаги, а глаза следили за этими шагами в слезах радости. Этих глубоких глаз нам не забыть никогда; под их взглядом, кажется, способны расцветать цветы, а мы, сыновья, черпаем в нем силы и мужество для своего роста. Мальчишками мы убегали на целый день в поле, на речку, в сады, а на закате, возвращаясь в родной угол, находили под ее теплым крылом утешение от обид, едва уловимое ласковое прикосновение к волосам и сладкий отдых. Она терпеливо приучала нас к большой черной работе, а в праздники сама надевала на нас новые рубашки, заботливо застегивала каждую пуговку на воротнике, расправляла складки и, улыбаясь, глядела вслед, когда мы уходили на гулянье. Когда в воздухе запахло пороховым дымом и, озаренная огнем пожарищ, над головами сыновей повисла рука убийцы, она первая подняла свою руку, чтобы отвести этот удар смерти; она сама надела оружие на сыновей, и послала их в бой за жизнь, и украдкой перекрестила путь, по которому мы ушли. «Мама, – невольно пронеслось у меня, – помоги мне, отведи от меня смерть, которая хищно кружит над головой!..»

Самолеты, не торопясь, деловито замкнули над нами круг, образуя зловещий хоровод. И переправа, и мы оказались в этом кругу.

Ездовые нахлестывали лошадей, гнали их вскачь, чтобы успеть проскочить через реку, пока не разрушили мост, грузовики обгоняли подводы, а люди рассыпались по равнине, поныряли в траву, в кусты тальника, затаились.

Ровный и свирепый рокот моторов вдруг прорезал тонкий, пронизывающий звук самолета, скользнувшего в пике, и на пойму легли первые бомбы. До нашего берега докатился надсадный стон земли; в грудь, плотно прижатую к обрыву, глухо торкнулся один удар, второй, третий... Нестерпимо острые, въедливые звуки чередовались с методической точностью, и грудь принимала все новые и новые удары. Равнину заволокло дымом и пылью; из-за непроницаемой пелены выныривали грузовики и гнали к мосту.

Бронетранспортер, выметнувшись из дымной мглы, встал, и среди рева и воя самолетов отчетливо и яростно забила его зенитная установка. В этом вызове одного пулемета десяткам вражеских машин было что-то дерзкое, непреклонное, презирающее гибель. Зенитчики били почти в лоб.

Вот скатился по прямой, сбросил бомбы и взмыл ввысь один самолет, за ним последовал второй, третий... Четвертый, стремительно снижаясь, вдруг наткнулся на что-то и как бы подпрыгнул. Он перевернулся и скрылся в пыли и дыму. Послышался обвальный взрыв всех его бомб, и с обрыва на плечи нам посыпались комья земли. Пятый вспыхнул на самой вершине спуска, накренился и безвольно полетел вниз, распуская волнистый шарф копоти. От самолета отделилась темная точка: выпрыгнул летчик; тотчас раскрылся и заколыхался над бурой, взбаламученной землей ослепительно белый, точно диковинный цветок, парашют. Он опустился, как в пучину, в дым и пыль.

Следующий самолет, опасаясь быть сбитым, отвалил вправо, ушел. Наступила минутная тишина, непривычная, грозная, пугающая, – неизвестно, что повлечет за собой. Дым рассеялся, и показались первые раненые; они шли сами или поддерживаемые товарищами.

Я пробежал вдоль берега, где были расставлены бойцы нашей роты.

Прямо у моста приткнулся к обрыву Юбкин. Он безотрывно смотрел на равнину изумленными, круглыми и неподвижными глазами, занимавшими половину его по-детски маленького, бледного и осунувшегося лица; у ног его лежали забытые и, казалось, ненужные ему гранаты – лимонка и противотанковая, тяжелая, похожая на толкушку, – и несколько обойм патронов. Он что-то сказал мне беззвучно, одними губами, но я не расслышал.

Неподалеку от Юбкина пулеметчик Суздальцев врылся в нишу. На земляной ступеньке укрепил пулемет, из двух досок воздвиг над ним конёчик, забросав его сверху ветками. Суздальцев сидел на чистой ступеньке, касаясь затылком ручек пулемета, и озабоченно-непонимающе глядел на реку, такую безмятежную в этот утренний час, всю в золотистых бликах. Когда я приблизился к нему, он встал.

– Ну как, Сережа? – спросил я, пытаясь ободряюще улыбнуться ему.

Суздальцев сурово свел серебристые, выгоревшие брови, нетерпеливо дернул плечом, как бы сердясь на то, что его оторвали праздным вопросом от важных и необходимых в эту минуту дум.

– Встретим, товарищ лейтенант. Назад не попятиться: река глубокая, а плаваю я как утюг. – Он приподнял синие обеспокоенные глаза. – Я с первого дня войны в боях, а не могу привыкнуть вот к такому безобразию. – Он качнул головой в сторону поймы. – Там все всмятку, яичница на сковородке...

– Так уж и всмятку! – с недовольством проворчал Чертыханов, как всегда, стоявший у меня за плечом. – Ты, Суздальцев, пускаешь воображение вскачь, оно и нагромодило тебе ужасов. Ты поэт и комсомолец. Ты обязан духом заряжать других... Своего второго номера, например.

Суздальцев вдруг обозлился.

– Пошел ты к черту со своим духом! – бросил он и отвернулся от нас, грудью припав к пулемету.

Из-под моста, от Они Свидлера, по привычке ссутулившись, бежал по песчаной кромке у самой воды второй номер – Бурсак – с двумя железными, оттягивавшими руки коробками. Это был угрюмый, неразговорчивый парень, невозмутимый и стойкий в схватках. Он бросил коробки к ногам Суздальцева и вытер рукавом потное, распаренное лицо.

– Ух, жара! – Бурсак поспешно сел и, приподняв ногу, попросил Прокофия: – Помоги, Чертыхан, стянуть сапоги, спасу нет, как ноги давит. Побегаю босиком. Легче...

Рядом с пулеметчиками стоял, привалившись плечом к стенке выдолбленной ниши, сержант Сычуглов, косил из-под навеса каски на пойму черный и мрачный глаз, жадно, короткими затяжками курил увесистую самокрутку. Он спросил, не глядя на меня:

– Сцапали летчика или нет? Подвели бы его ко мне, я бы его взглядом прожег, гада! Загрыз бы!.. – И страдальчески взревел, стиснув кулаками подбородок.

– Болят? – участливо спросил его Чертыханов. В ответ сержант лишь глухо, с зубным скрипом застонал. Прокофий отметил, лукаво поглядев на меня: – Вот, товарищ лейтенант, загадка для науки: перед боем болят у сержанта зубы, а как только бой начнется – перестают. Что такое? Жив останусь, непременно напишу про тебя, Сычуглов, в Академию наук, пускай разберутся...

– Прямо челюсть отламывается! – простонал сержант. – Курево не помогает, одна полынь во рту, хоть бы осколком отхватило ее напрочь, и то легче было бы...

Круглая плутовская рожа Чертыханова озарилась невинной усмешкой.

– Ничего, Паша, потерпи немного, скоро бой начнется, – успокоил он. – Это даже хорошо, что они болят, – злее будешь...

Сычуглов медленно перевел на него полный неизъяснимого страдания и ненависти взгляд, точно стоял перед ним лютый враг, произнес рычаще и с мольбой:

– Уйди от греха подальше! Ух, осел!..

Прокофий предусмотрительно отступил за мою спину, стал громко и старательно сморкаться.

Справа от крайней стрелковой точки неторопливым, но спорым шагом шел навстречу нам Щукин. Мы остановились у самой воды. От нее веяло сыроватой свежестью. К ногам на камешки прибило течением солдатскую со звездой пилотку... Шил где-нибудь на Суре или на Ветлуге беспокойный, веселый паренек, жил, не зная ни страданий, ни забот, ни горя, ходил, закатав до колен штаны, по берегу с удочкой в руках, замороженным взглядом следил за поплавком; когда падали с синей выси стонущие клики журавлиных клиньев, он, приподымая лицо, еще обсыпанное ребяческими веснушками, обметанное серебристым пушком, следил за полетом птиц и содрогался от радости: жизнь только начиналась, впереди такие дали, что дух захватывает! Столько можно сделать – только не ленись!.. Поздно вечером, возвращаясь из школы рабочей молодежи, он заходил в городской парк и, засунув тетради и учебники за пояс, танцевал с девушкой... Потом шел ее провожать по тихим улицам. Они молчали, глядя на свои тени, такие четкие в лунную зеленоватую ночь, и пожатия рук заменяли им слова и мечты о будущем, о счастье... Тяжкий час испытаний оборвал мечту и заглушил счастье. Паренек надел вот эту солдатскую пилотку, и она преобразила его юношески-мягкие черты, отметив их мужеством и силой. Он сказал подружке, чтоб ждала его, что вернется он с победой. И вот вражеская пуля ужалила юношу с Суры или Ветлуги, и поникла его белокурая голова, уронив пилотку в воды Днепра...

Чертыханов поднял ее, крутанул, выжимая в своих громадных ручищах, затем положил на валун, другим камнем придавил сверху.

– Много полегло от бомбежки, – сказал Щукин тихо; сняв каску, он по привычке в раздумье причесал желтовато-белые жесткие волосы расческой с обломанными зубьями. – Тяжело



для ребят, хотя они и видали виды... А вообще ведут себя уверенно... – Он опустил взгляд, как бы не договаривая того, что, мол, им, как и нам с тобой, известно: уйти отсюда живыми едва ли кому удастся.

Мы поднялись по пологому откосу, отделявшему реку от нашего обрыва. Вставшее над землей солнце щедро плескало свет на равнину, с беспощадной отчетливостью озаряя место гибели людей, и как бы кричало нам: смотрите, запоминайте!.. Рассеявшийся дым и осевшая пыль открыли свежие и черные оспины воронок; между ними на дороге чадили, догорая, исковерканные машины; торчали среди кустов отброшенные взрывными волнами пушечные лафеты; валялись лошадиные туши с задранными копытами, а на зеленой траве в беспорядке, в неудобных и трагических позах лежали люди, которым никогда больше не встать. Раненые ползли по траве, огибая зияющие воронки, зубами рвали рубахи, накладывая на себя повязки. Оставшиеся в живых выныривали из-под кустов, торопились к неповрежденным машинам, втискивали в кузова раненых. Оборвавшийся поток забурился, с новой силой прорываясь к переправе. Бронетранспортер с зенитной установкой уже загремел досками на мосту...

Самолеты, разорвав круг, разделились на две группы: одна ушла вправо и стала кружиться над холмами, вторая повисла над левым берегом. Первые бомбы легли левее дороги, по которой отходили войска, в осинник, где были укрыты наши тылы. Тотчас за вторым разрывом выметнулась обезумевшая белая кобылица капитана Суворова. Телегу она где-то потеряла и с одним передком неслась к мосту. Почти на середине моста она налетела на бронетранспортер, взвилась на дыбы, кинулась вбок и, испустив дикий, предсмертный визг, ломая оглобли, своротив перила, рухнула вниз, в воду. Печальный конец красавицы лошади больно напомнил об отчаянной гибели ее хозяина. Я отвернулся...

Из-под моста вынырнул перепуганный Оня Свидлер.

– Видали? Наша лошадь! – крикнул он еще издали, взмахивая в сторону переправы рукой, почти по локоть высывавшейся из рукава гимнастерки. – Тылов у нас больше нет! – У него был такой растерянный и осиротелый вид, точно без этих жалких тылов жизнь дальше невозможна; обросший за сутки темной и жесткой щетиной, он удивленно глядел на нас черными, горячо мерцающими глазами: как можно оставаться спокойным при свершении такого ужасного события!..

– Ничего, Оня, – успокоил его Щукин своим учительским голосом. – Теперь вся Россия – наш тыл. И ты теперь начальник боепитания и брат милосердия. Припасай патроны и бинты...

Оня смотрел на тот берег, где он так надежно укрыл в осиннике две подводы и кухню, и готов был заплакать от досады и жалости: какие были лошади, какая каша приготовлена!..

– Почему они не бомбят переправу? – спросил Оня. – Разве не видят, что войска уходят за реку?

Прокофий Чертыханов осведомленно и авторитетно объяснил ему:

– Они желают оставить ее за собой целехонькую. Не дураки! – И прибавил, ухмыльнувшись: – Опять же тебя жалеют, ведь ты под мостом...

С бронетранспортера, перебравшегося на ту сторону, зенитный пулемет очередями встречал каждый самолет, снижающийся в пике для бомбежки, но огонь его не был таким счастливым: штурмовики, разрушая наши батареи, уходили невредимыми.

– У, сапожники! – с возмущением шептал Оня Свидлер в адрес пулеметчиков. – Мазилы!..

И вдруг точно стремительный, разящий радостью луч ударил в самое сердце, исторгнув из души иступленный вопль: глаза ослепили на миг алые звезды на крыльях наших «ястребков». Их было всего три, но казалось, что их много. Я поглядел вдоль обрыва на прыгающих, кричащих, машущих касками и пилотками бойцов, но как бы и не увидел никого: нас не было на берегу, мы все натолкались в тесные кабинки истребителей. Мы ворвались в строй вражеских машин подобно буре и за несколько минут расшвыряли их. Мы предостерегали летчиков

от опасности, указывали, по какому самолету бить. Один немецкий штурмовик, запылав, упал отвесно, словно камень; второй, простреленный, потянул было на свою сторону, но загорелся и, разматывая над рекой траурное шелковое полотнище, врезался в берег у самой воды, рассыпал в стороны огненные брызги.

Разогнав самолеты, проводив «ястребки», – они метались в небе из конца в конец: им надо было всюду успеть, отразить наседавшие со всех сторон вражеские стаи, – мы спустились на свой берег. Настроение бойцов поднялось: там, за рекой, в глубине России, есть большая сила; в трудный час она явится на помощь, выручит, избавит от опасности, от гибели.

С того берега прибежал повар Хохолков; юркий и сухонький, словно похудевший от постоянного недоедания, он мышкой прошмыгнул по мосту, сильно кренясь набок от тяжести ведра. Он поставил ведро, полное каши, у ног старшины.

– Вот все, что осталось, – доложил Хохолков и облегченно вздохнул, точно был очень доволен, что расстался наконец с кухней, с лошадьми.

Оня Свидлер даже прослезился от умиления.

– Хохолок, дорогой!.. Уцелел!.. – растроганно приговаривал Оня, ощупывая Хохолкова, стискивая ему плечи. – И кашу принес!..

– Я за водой бегал, когда ахнула бомба, – выпалил повар, чуть запинаясь, растирая ладонь, натертую дужкой ведра. – Меня обдало жаром и отшвырнуло легонько, словно я и не человек, мушка какая или щепочка... Полежал немножко, будто задремал, а потом встал; в голове до сих пор трещит что-то, скрипит... На месте стоянки, гляжу, яма, повозки на боку, колесо на оси еще крутится, лошади наповал, суворовской кобылы недосчитался... Кухню откинуло и перевернуло. Я выскреб из нее остатки каши – и сюда. – Он покосился на ведро, добавил тише: – Если на зубах захрустит, так это ничего, с песочком собирал... – Хохолков с решимостью повернулся ко мне. – Товарищ лейтенант, мне одному там (он пренебрежительно кивнул в сторону того берега) службы нет...

Было в нем, в этом маленьком поваре, что-то забавное, трогательное и задиристое, как в молоденьком петушке. Я невольно улыбнулся ему; он ответил веселой, чуть смущенной улыбкой:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.